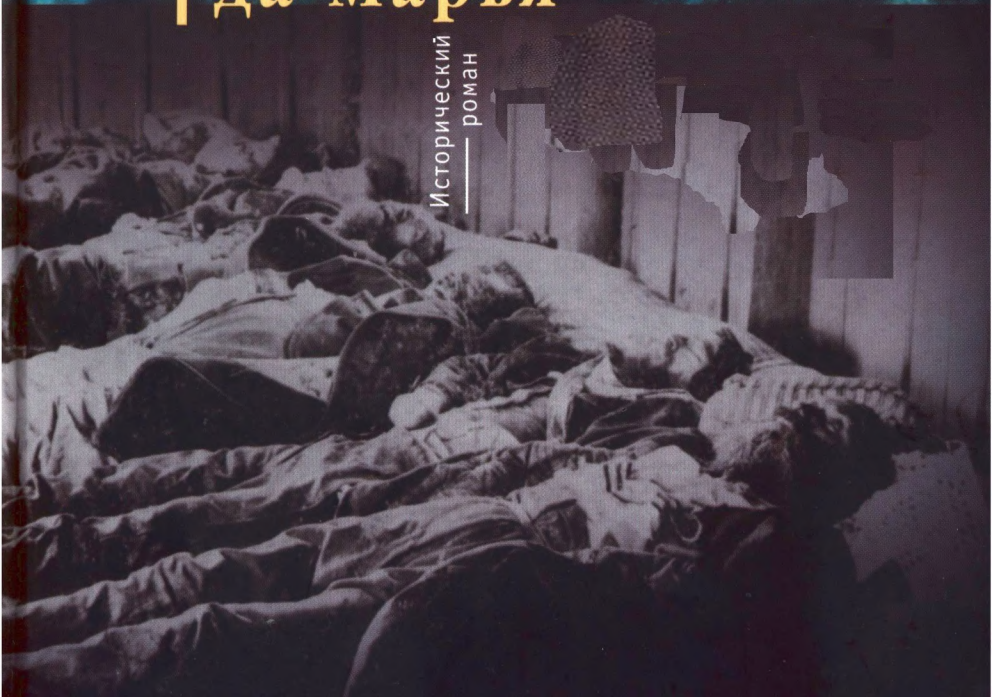




Семен
РЕЗНИК

Хаим-
да-Марья



Исторический
роман

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Семен РЕЗНИК

Хаим-
да-Марья

Кровавая
карусель

Исторические
романы

Александру Белоусенко
с наилучшими пожеланиями
от автора

Сем. Резик

29 ноября 2006 г.

Вашингтон

Санкт-Петербург

АЛТЕЙЯ

2006

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р34

*Издается при поддержке гранта
Памяти Анны Хавинсон*

Резник С. Е.

Р34 Хаим-да-Марья. Кровавая карусель : Исторические романы / С. Е. Резник. — СПб. : Алетейя, 2006. — 412 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5-89329-845-4

Семен Резник — один из ведущих прозаиков и публицистов русского зарубежья. Его перу принадлежат научно-художественные биографии, историко-публицистические произведения, многочисленные эссе, очерки и статьи, публиковавшиеся в русскоязычной и англоязычной периодике США, Европы, Израиля, России и выходившие отдельными книгами. Особое место в его творчестве занимает историческая судьба евреев и их гонителей. Большой резонанс вызвала его историко-публицистическая книга «Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях диалогии А. И. Солженицына» (М.: Изд-во «Захаров», 2005).

В данный том вошли два исторических романа: «Хаим-да-Марья» и «Кровавая карусель». Первый из них в России выходит впервые, второй был опубликован в Москве в издательстве «ПИК» 15 лет назад, молниеносно разошелся и стал библиографической редкостью.

Хотя оба произведения были написаны 25–30 лет назад и повествуют о событиях, происходивших на 100–150 лет раньше, они сегодня звучат еще более остро и злободневно.

ISBN 5-89329-845-4



© С. Е. Резник, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2006
© «Алетейя. Историческая книга», 2006

Об исторических романах Семена Резника

Вместо предисловия

«В эмиграции [Семен Резник] раскрылся как оригинальный прозаик, хотя роман "Хаим-да-Марья" и [две] повести «Кровавая карусель» написаны еще в России. Написаны, но были обречены на неиздание.

"Хаим-да-Марья" назван историко-документальным романом-фантазмагорией. Не потому, что того, о чем в нем повествуется, в действительности не было, а потому, что реальность, воплощенная в событиях и судьбах повествования, фантазмагорична до абсурда. Сюжет романа задан российской историей: действие развивается в 20–30-е годы XIX века, в царствование Николая I, и связано с так называемым "Велижским делом", по которому более 40 евреев обвинялись в ритуальных убийствах христианских детей. Что это, как не один из ответов на вопрос об исторических корнях и хронологических рамках русского антисемитизма?..

"Кровавая карусель" — две повести под одной обложкой и одним названием. В основе сквозного сюжета обеих — еврейский погром 1903 года в Кишиневе. Его драматические события в первой повести даны через восприятие убежденного шовиниста — охранителя, апологета царизма, поборника и выразителя имперской политики, великодержавной идеологии, [П.А. Крушевана]. Во второй они увидены глазами [В.Г.] Короленко, писателя-гуманиста, чей совестливый, неподкупный голос мужественно звучал в защиту жертв черносотенного насилия и полицейских провокаций».

Валентин Оскоцкий, критик и литературовед, Москва. (Доклад: «Антифашистская литература русского зарубежья», 1992 г.)

«Семен Резник владеет материалом как профессиональный историк. От него не ускользает, кажется, ни одна архивная мелочь, способная воссоздать события и, главное, характеры людей стопятидесятилетней давности. Дальше историк уступает место писателю, точнее, плодотворно сосуществует с ним. Неизбежный и необходимый в историческом романе домысел (вспомним Ю.Тынянова!) дает автору творческую свободу, которой он пользуется с умением и тактом».

Эдуард Капитайкин, литературный критик, Израиль. («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1986 г.)

«Роман [”Хаим-да-Марья”] написан мастерски, это существенный вклад в современную литературу. В причудливой повествовательной манере автора оригинально сочетается реалистическое повествование с его пародированием... В книге много горького сарказма, убийственной иронии. Резник пишет для своих современников, хотя и не о них самих. Это подчеркивается современными лексическими оборотами, вклиненными в стилизованное под старину повествование, усиливая намеренные диссонансы, характерные для стиля этого необычного романа.

Сюжет романа — это нагромождение беспредельных абсурдов и столь же беспредельных страданий... Два императора, министры, губернаторы, местные правители оказываются в кафкианском лабиринте полицейско-бюрократической системы царской России. С.Резник показывает их как живых людей, а не как безликий инструмент власти. Все дело держится на показаниях городской проститутки Марьи Терентьевой, чье реальное и воображаемоехождение находится в центре повествования. С.Резник прибегает к острой сатире, позволяющей рельефнее раскрыть психологию и эмоциональное состояние жертв — не только Хаима и других евреев, но также и Марьи, которую автор показывает не столько источником зла, сколько инструментом, которым умело манипулируют. Откуда же явилось зло? Последовательно избегая прямых обвинений и дидактических деклараций, С.Резник не дает прямого ответа на этот вопрос, даже не ставит его. Но всем строем повествования дает читателю возможность самому на него ответить. Когда роман, полный интригующих сюжетных поворотов, дочитан до конца, он оставляет в сердце глубокую рану».

Яков Рабкин, профессор Монреальского университета, Канада, 1988.

«В марте 1988 года, когда [будапештское] издательство «Интерарт» решило издать эту книгу русского писателя, живущего в Америке, все мы были уверены, что просто дарим читателям еще один превосходный роман. Достаточно редкий роман, который, без всякого сомнения, будут читать и через 50 лет. Ведь такое происходит не часто, чтобы произведение находило горячий отклик у читателей, вызывало и смех, и слезы. Такой роман самозабвенно прочитывается от доски до доски даже утонченными интеллектуалами с завышенными эстетическими требованиями, хотя в нем не найти внешних атрибутов, обязательных в современной литературе. А, может быть, благодаря именно этому».

Агнеш Геробен, профессор русской литературы, Будапешт, 1989.
(Из послесловия к венгерскому изданию романа «Хаим-да-Марья».)

«Я только что прочитала роман "Хаим-да-Марья" и нахожусь под сильным впечатлением. Я давно интересуюсь литературой на языке идиш, и меня особенно заинтриговало воссоздание мира, известного из произведений таких писателей, как Шолом-Алейхем, братья Зингеры, И.Л.Перец. То, как Вы воссоздали мир маленьких еврейских городков начала XIX века, со всеми его традициями и предрассудками, жестокостями и человечностью, выглядит очень убедительно. Отличие Вашей книги от других исторических романов об антисемитизме, по-моему, состоит в том, что сюжет излагается и с позиций антисемитов, так что в книге представлены обе точки зрения — гонителей и гонимых... Как Вы знаете, в редакции газеты "Вашингтон Таймс" я состою в литературной комиссии, и могу Вас заверить, что большинство книг, которые к нам поступают для рецензирования, на половину не столь интересны и захватывающи, как Ваш роман».

Хеле Беринг-Дженсен сотрудник газеты «Вашингтон Таймс»
(Из письма автору), 1988.

«Когда стоишь перед каруселью истории и вглядываешься в нее, мелькают многие страшные фигуры: избиение младенцев, Варфоломеевская ночь, стрелецкая казнь, ночь разбитых стекол (поэтично переведенная с немецкого как "Хрустальная"), армянская резня, трагедия красной Кампучии, коллективизация, Катастрофа европейского еврейства... Почему же Семен Резник сделал темой своей книги кишиневский погром 1903 года, несчастье ныне сравнительно редко вспоминаемое?

Потому, что именно оно определяло поляризацию сил перед ключевым моментом русской истории — революцией 1905 года. Его художественно-исторический анализ помогает осмыслить и ряд намного более поздних фигур российской «карусели», от Октябрьского путча до нынешних сборищ "Памяти"....

Споры в книге много. Исторические персонажи спорят друг с другом и с вымышленными, реже — вымышленные между собой: все-таки книга историческая. Автор не подыгрывает в них своим союзникам, не оглушает противников. Павла Крушевана Резник почти полюбил, только читатель этой любовью не заражается. Конечно же, это литературный прием, но он необходим, чтобы не уподобиться антисемитам и большевикам в неприятии любых контраргументов».

Марк Рейтман, «На кровавой карусели» «Новое русское слово»
(Нью-Йорк, 1988).

«**Ч**итать "Кровавую карусель", книгу, объединившую исторические повести Семена Резника об антиеврейских погромах в России начала [XX] века, мне, русскому человеку, тяжело и больно... Если бы Семен Резник остановился только на документальном описании Кишиневского погрома и его идеологическом оформлении писателем Крушеваном... его книгу можно было бы отнести к разряду стирающих еще одно "белое (черное!) пятно" в российской истории... Однако автор, как бы адресуясь к совести современной русской интеллигенции, показывает и противодействующие силу — бескомпромиссную борьбу Владимира Галактионовича Короленко и его единомышленников, спасителей чести русской культуры, с черносотенцами».

Владлен Сироткин, профессор, Москва. (Из послесловия к «Кровавой карусели», ПИК, 1991).

ХАИМ-ДА-МАРЬЯ

Историко-документальный
роман-фантазмагория

Я хочу показать миру злую гиену, которая с предательской жестокостью подражает человеческому голосу; я привожу сюда в цепях жестокого крокодила; я хочу описать отвратительные жестокости смрадной каиновой орды, иначе говоря — повторить то, что давно уже было сказано, дабы прийти на помощь обманутому христианскому миру.

Пмецлав Маецкий.

Еврейские жестокости, убийства и суеверия, 1636 г.

Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!

Псалтырь, 105; 3.

А судьи кто?

А. Грибоедов.

Горе от ума, Первая половина XIX в.

Во дни благопалучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него... Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.

Екклесиаст, 7; 14; 10.

*Если всюду растет
чертополох,
Если беден народ,
Если климат наш плох
И везде дифтерит
Заражает, как яд, —
Виноват в этом жид,
В этом жид виноват.*

Дм. Минаев. Вторая половина XIX в.

*Поэт горбат,
Стихи его горбаты
Кто в этом виноват?
Евреи виноваты.*

Современный фольклор.

Приписывается Евг. Евтушенко.

Сюжет полностью соответствует подлинным историческим событиям. Сохранены даты, имена действующих лиц, названия географических пунктов. Домыслены лишь некоторые биографические подробности, психологические характеристики и сновидения персонажей.

Автор

Предисловие к первому изданию

Сколько я помню себя, я помню, что я еврей и что хотя в этом ничего постыдного нет (так мне внушали родители), этого все же следует стыдиться (так учила жизнь). Стыд за свое национальное происхождение я выдавливал из себя по каплям, как Антон Павлович Чехов выдавливал из себя раба. И я знаю, что через то же самое прошли многие русские евреи моего поколения.

В прошлом антисемитизм пытались объяснять религиозной нетерпимостью, национальной рознью, а когда в моду вошел марксизм — классовыми противоречиями. Но антисемитизм глубже всех этих объяснений. Кроме всего прочего, это традиция, уходящая в глубь тысячелетий. Это целая культура; точнее, антикультура.

Антисемитизм всегда нужен был деспотам.

В дореволюционной России за него цеплялись те, кто всеми правдами и неправдами пытался спасти изживший себя режим. На него делал основную ставку Гитлер, а в СССР он достиг высшего накала на излете сталинской эпохи, в период преследования космополитов и особенно — в деле врачей.

После смерти Сталина врачей освободили и признали невиновными, так что именно евреи оказались первыми ласточками «реабилитанса». В последующие годы антисемитизм то ослабевал, то снова усиливался — в соответствии с колебаниями робкого хрущевского либерализма.

Остатки либеральных иллюзий в СССР были раздавлены танками, ворвавшимися в Чехословакию. И сразу же началась воинственная антисемитская кампания, которая продолжает усиливаться. Уже второе десятилетие в Советском Союзе проводится целенаправленная травля евреев, которых объявляют врагами России и врагами социализма, виновными во всех бедах и неудачах советской системы. Цель этой кампании, по моему убеждению, состоит в том, чтобы изолировать евреев от остального населения, вызвать к ним ненависть и в случае возникновения критической для режима ситуации (вроде той, что сложилась в Чехословакии в 1968 году или в Польше в 1980–81 годах) сделать евреев козлами отпущения и, может быть, даже «окончательно» решить еврейский вопрос по гитлеровско-сталинскому рецепту.

Современная антисемитская кампания в СССР проводится под «новым» лозунгом «разоблачения сионизма», но новое — это лишь хорошо забытое старое. Застрельщикам антисионистской кампании ничего не приходится придумывать: они паразитируют на старом российском антисемитизме, уворовывая у черносотенных авторов идеи, цитаты, «факты», даже большие куски текстов.

Доступными писателю средствами я пытался противостоять этой травле. Роман «Хаим-да-Марья» — одна из таких попыток. Описанные в нем события происходили 150 лет назад, но проблематика романа слишком тесно связана с моей жизнью и судьбой моего поколения, чтобы его можно было рассматривать только как исторический.

Экзамен на современность роман выдержал еще в СССР, где все мои попытки его опубликовать окончились неудачей именно потому, что издатели хорошо понимали, сколь актуально его звучание.

Таким образом, это не только роман о далеком прошлом, но и документ настоящего. Он показывает, что антисемитизм в России оказался долговечнее войн, революций и других потрясений. Перетряхнутая много раз до основания, она в чем-то главном оставалась неизменной. Как тяжелая наследственная болезнь, антисемитизм губил Россию в прошлом и продолжает губить в настоящем.

Семен Резник
Август 1985 г.
Вашингтон

Предварительные объяснения

Черта оседлости и процентная норма — это лишь наиболее яркие положения законодательства о евреях, которое даже на фоне отнюдь не отличавшихся гуманизмом законов Российской империи выделялось своим драконовским характером. А поскольку ограничительные меры против целого народа надо было обосновывать, то не было недостатка в различных теоретиках, проливавших моря чернил и типографской краски, чтобы доказать, будто евреи безнравственны, будто все их обычаи, весь образ жизни враждебны христианским народам, будто они составили тайный заговор против всего человечества.

Наиболее сильным аргументом в руках этих «теоретиков» служил средневековый миф о том, будто бы иудейская религия предписывает своим адептам при совершении некоторых обрядов употреблять христианскую кровь.

Этот миф оставил в истории длинный кровавый след, тянущийся через века и страны. В Средние века любое исчезновение или гибель при невыясненных обстоятельствах христианского ребенка (годились и взрослые) приводили к очередному ритуальному процессу и сожжению на костре пяти-шести ни в чем не повинных людей, а кроме того — к избиениям, грабежам, насилиям и прочим бесчинствам в еврейских кварталах. Жертвами навета становились не только евреи, но и их мнимые пособники, а нередко и сами христианские дети, ибо злонамеренные антисемиты нередко сами убивали детей, чтобы затеять очередное ритуальное дело.

На Руси племенные и религиозные различия использовались для разжигания ненависти и вражды с первых веков после принятия христианства. Летописи рассказывают, что, например, Феодосий Печерский, причисленный к лику святых основатель одного из древнейших киевских монастырей, призывал православных прощать своих врагов, но «не врагов Божьих», к которым относил всех пребывающих «в вере латинской, армянской, срацинской» и т.п. «Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл безбожниками и отступниками и хотел быть от них убитым за Христа» (Н. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т.1, СПб., 1912, стр. 19—20).

В Московское государство евреи столетиями не допускались, а когда попали в него в виде пленников (при взятии русским войском Полоцка), Иван Грозный «решил вопрос» наипростейшим способом: «Согласных креститься — крестить! А несогласных утопить в реке Полоте». (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XI, стр. 454.)

В те времена, когда главным богатством была земля, евреям не разрешалось владеть ею и заниматься земледелием. Вольно или невольно они становились ремесленниками, купцами, ростовщиками. По мере развития промышленности, роста городов, установления капиталистических отношений росла роль «третьего сословия»; принадлежавшие к нему евреи приобретали все большее значение в экономической жизни некоторых стран. Но в Россию евреи по-прежнему не допускались. Императрице Елизавете Петровне была подана записка, в которой доказывалось, что разрешение евреям-купцам приезжать в страну способствовало бы оживлению торговли и пополнению казны (за счет собираемых за ввозимые товары пошлин). Императрица наложила красноречивую резолюцию: «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю».

Только при Екатерине II, когда в результате раздела Польши к России отошли западные губернии со значительным еврейским населением, перед русскими властями вновь встал «еврейский вопрос».

Культивирование национальной и религиозной нетерпимости, использование мифа о ритуальных убийствах в качестве оправдания самых жестоких мер против «врагов христовых» — таковы сделались методы его решения.

Большой ритуальный процесс, проходивший в эпоху царствований Александра I и Николая I (так называемое Велижское дело), положен в основу предлагаемого вниманию читателей романа.

Жанр романа я определяю как историко-документальную фантазмагорию. Закрывающаяся в этом определении парадоксальность — это парадоксальность материала.

Единственная крупная историческая личность в романе (не считая двух императоров), граф Николай Семенович Мордвинов, экономист, ученый, мыслитель, человек большой личной честности и прямоты, отнюдь не относится к числу главных героев повествования; в качестве основных действующих лиц выступают люди малоприметные, и я должен был прибегать к домыслам, чтобы оживить те скудные сведения о них, какие удалось найти в материалах Дела и других источниках. Однако не в этих домыслах фантазмагория. «Кафкиана», или «гофманиана», как говорили в двадцатые годы XX века (смотри «Алмазный мой венец» В. Катаева), перенесена в роман из исторических документов в неизменном виде. Понуждая запуганных темных женщин давать ложные показания, следователи сами начинали верить

ими же фабрикуемой лжи. Фантасмагорический мир вымышленных преступлений, обрастая в ходе следствия новыми и новыми подробностями, замещает собою реальность, вытесняет ее. В чудовищную ложь втягиваются губернаторы, сенаторы, сам царь. Мир оказывается вывернутым наизнанку. Самая глупая выдумка, «чудеса», галлюцинации психически нездоровых людей становятся судебными уликами, а достоверные факты — вымыслом. Не учитывая этого, нельзя понять, почему одного непредубежденного взгляда адмирала Мордвинова оказалось достаточно, чтобы обвинение, создававшееся 12 лет, рассыпалось в прах.

Но и Мордвинов не мог окончательно похоронить средневековый миф. Ритуальные процессы возникали в России еще не раз — на протяжении всего XIX века. И даже в XX веке, стремясь отсрочить неминуемую гибель самодержавия, его адепты сфабриковали знаменитое Дело Бейлиса. «Гофманиана» подлинно переросла в «кафкиану». Все усилия следствия по Делу Бейлиса были направлены не только на то, чтобы состряпать обвинение против невинного человека, но и на то, чтобы спасти от ответственности шайку истинных убийц Андруши Ющинского, чьи имена были хорошо известны.

Как большинство ритуальных процессов, Велижское дело не обошлось без стоящих за кулисами интриганов, без предателей-выкрестов, готовых лжесвидетельствовать ради мелкой подачки, без христианских «соучастников», неизбежно превращаемых в основное орудие обвинения. Уникальной особенностью этого дела является, пожалуй, только изумительная стойкость, какую обнаружили обвиняемые, несмотря на их большое число и очень пестрый состав. Мужчины и женщины, старики и юноши, богачи и бедняки — все сумели выстоять, вынести угрозы и издевательства, не соблазниться посулами прощения, устоять перед психологическим, да и прямым физическим давлением; некоторые приняли смерть. Но никто не дрогнул, никто не возвел на себя или товарищей по несчастью вины, признание которой грозило бы неисчислимыми бедами всем евреям России.

Несколько слов о литературной форме романа.

Приходя в театр, мы заранее соглашаемся верить всему тому, что увидим на сцене, но мы ни на миг не забываем, что перед нами игра, условность, что сраженный пулей или пшпайгой человек сейчас поднимется и раскланяется перед зрительным залом. Талантливый актер, перевоплощаясь в своего героя, остается собой; он передает зрителю свое отношение к персонажу. В этой условной двуединости заключена вся волшебная магия театра.

Велижская фантасмагория — это театр, ставший жизнью, или жизнь, ставшая театром. Таково доминирующее ощущение, какое я

испытывал, работая над произведением, и оно продиктовало литературную форму (что сам я вполне осознал уже после того, как поставил последнюю точку). Конечно, аналогию не следует понимать слишком прямолинейно. Драматургия и проза — два разных вида искусства, и я меньше всего хотел бы, чтобы на мой роман смотрели как на «пересказанную» пьесу. Действующие лица — это, прежде всего, исторические персонажи. Но вместе с тем, это актеры, разыгрывающие заранее распределенные роли на подмостках исторической сцены.

Условной двуединостью персонажей в известной мере предопределен отбор художественных средств. Язык повести несколько стилизован: читатель встретит «простонародные» неправильности, архаичные инверсии, характерно «еврейские» обороты русской речи. Но это не значит, что я воспроизвожу в подлинности язык, каким говорили реальные исторические лица. Подобный натурализм был бы совершенно неуместен. Действие романа происходит в первой половине девятнадцатого века, но написан он в последней четверти двадцатого; давних героев играют современные актеры. Как бы забываясь, они в архаичную речь вставляют подчеркнуто современные слова и выражения. Надеюсь, читатель поймет, что это не небрежность, а необходимый художественный прием, позволяющий подчеркнуть невероятный, фантазмагорический характер той реальности, в которой живут и действуют персонажи.

Повествование ведется от первого лица, но, конечно, не от лица автора. Рассказчик — фигура условная. Если продолжить аналогию с театром, то это ВЕДУЩИЙ, актер с широким диапазоном функций. Он то прямо обращается к «зрителю», стремясь создать «в театре» интимную атмосферу, слить сцену со зрительным залом; то рассуждает сам с собой, вовсе забывая о «зрителе». Он беседует то с одним, то с другим персонажем, обращаясь к ним на «ты» и даже почти перевоплощаясь в них, становясь их *альтер эго*, *вторым я*, и высказывая их сокровенные мысли, которые они пытаются скрыть даже от самих себя.

Но... не слишком ли затянулось мое «Предварительное объяснение»? Ведь основной закон театра: как можно меньше объяснять, как можно стремительнее разворачивать действие.

Глава 1

Вы, конечно, слышали про Марью Терентьеву? Как! Вы не слышали про Марью Терентьеву? Про красавицу бледнолицую да волоокою, плавным движением округлых бедер разбивающую мужские сердца?

Ну, серенады под ее балконом сеньоры не распевают. Так ведь где взяться сеньорам в тихом городке Велиже, что среди дремучих лесов да топких болот к бережку реки Двины притулился? Да и балконов не сыщешь в городке Велиже — тихом, одноэтажном, в тесовые заборы забранном. Где уж там о балконе мечтать Марье Терентьевой! Не то что дома своего или хоть комнатенки своей, а и крохотного угла какого-нибудь в развалюхе-сараюшке на заднем дворе, где ветер в щели свищет да дождик сочится — и того отродясь не бывало у Марьи Терентьевой. Приютит на ночь добрая душа — Марья славит Господа своего Иисуса Христа, а где следующую ночь проведет — про то и не ведает. Знает Марья: Господь про нее не забудет.

Эх, Велиж, Велиж, славный городок! Тихий, уютный, торговый, окладно-бородатый да в кружок постриженный, со множеством церквей да заведений питейных. Любо-дорого живется в Велиже Марье Терентьевой. Ей лишь юбки свои неопрятные, да зато поцыгански цветастые, оправить, да плечиком покатым повести, да бедром округлым вильнуть, да опахалом ресниц длиннющих мотнуть, и всяк мужичок хлебушком угостит да и чарочкой не обнесет! Согрешить за то надобно Марье Терентьевой... Так ведь она, Марья, не басурманка какая-нибудь. Бог-то у нее не злой-жидовский-беспощадный; у нее Бог свойский, ласковый, грустными глазами с иконок глядящий, ее, Марью, жалеющий, грехи ей прощающий.

Любит Марья Господа своего Иисуса Христа, обожает его Марья. И храмы господние любит. Стужа на дворе лютая, мороз до костей прохватывает; или, к примеру, дождь все платье цветастое насквозь промочит... А в храме сухо, тепло, свечи редкие перед иконами светятся. Тишина в храме Божиим, тени прячутся по углам; таинственно в храме, чуть боязно, и благодатно, и лики угодников святых с иконок на Марью глядят. Марья иконку поцелует да душу остывшую горячей молитвой отогреет.

Истово молится Марья, поклоны кладет, крестным знамением осеняется, шепчет все, шепчет губами своими, иной раз сама не разберет, что шепчет-то; ну, да он, Христос-от Спаситель, он все разберет, все поймет, все простит да не осудит. И хорошо Марье оттого, что понимает, и жалеет, и прощает ее Христос, и слезы теплые, счастливые слезы катятся по щекам из прекрасных ее воловьих глаз, опахалами густых длинных ресниц отороченных.

Любит Марья Терентьева в праздник церковный к братчине пристать. Тут и благочиние, и умиление, и гимны, и целование икон. А веселья, веселья-то сколько! Ох, и умеет веселиться в честь Святых угодников своих православный народ!

Стол от снеди ломится, вино льется рекой, и всяк входи, всякому хозяин рад!

Хозяину-то уважение братчина оказала: цельный год теперь икона Святого в доме его будет храниться. Вот и угощение хозяин выставляет: садитесь, дорогие гости, ешьте-пейте, гуляет сегодня православный люд!

Звонко падают монетки золотые, да серебряные, да медные в тарелку, что поставлена посреди стола. Сосед соседа потчует, перемогнуть старается: ты вот алтын в тарелку бросил, а я пятак кладу! Смотрите, люди добрые, как уважает православный человек Николу-угодника, или Богородицу, или в честь кого там сегодня праздник идет!

По одной падают в тарелку монетки, да горстями исчезают из тарелки — туда все, туда, в корчму ближайшую, в широченный карман на переднике толстой, расплывшейся от лет еврейки. Передник на ней рваный, засаленный, да из-под передника атласное платье проглядывает, в ушах сережки драгоценным камнем поблескивают, а на парике диадема золоченая — что корона царская.

Бочонок с вином еврейка выкатывает, улыбается льстиво, говорит картаво, нараспев, неискренно. Берите, мол, коль праздник у вас такой, веселитесь на здоровье, вино у меня, сами знаете: лучше во всем Велиже не сыскать. Мало — так еще берите, разве нам жалко для вас? А сама монетки пальцами мусолит, второй и третий раз пересчитывает.

— Что? Мало тебе, еврейка? На еще! — и со звоном сыпаются монетки с липкой ладони. — Бери, еврейка, пей кровушку христианскую! Гляди, как православная душа Святого своего почитает!

Гуляет православный люд. Кто в ладоши похлопывает, кто ножкой притопывает, а кто уж и скамью о соседа переламывает. Дым коромыслом стоит, блевотина разит кислым. Весело гуляет

народ — весело и Марье Терентьевой. Как рыбке в незамутненной Двине, как молодой кобылице на зеленом лугу, как жаворонку в выси поднебесной, так и Марье на этих празднествах.

«Искажение церковных песен, пьянство и ссоры — отличительные черты сих торжеств», — сообщает с грустью Православный Исследователь.

Но Марья Терентьева грамоте не обучена, об исследованиях тех слыхом никогда не слыхивала. Марья тому пальчиком погрозит, другому глазочком, опахалом отороченным, подмигнет, а иному и язык длинно выставит, злую гримасу состроит: я те цапну, я те хапну, прими грабки, падла неумытая, не то зенки выскребу! Не такая баба Марья Терентьева, гордость тоже о себе понимает. Ты мне чарочку поднеси, да закусочкой угости, да окажи обхождение. А то капусты с бороды не отряс, а уже за задницу цапать! Я те так цапну — Бога со святыми угодниками мигом позабудешь...

А как плясать пойдет Марья Терентьева! Как станет в круг, да шаль свою неопрятную, с прорешинами многими, да зато поцыгански цветастую, с плеч на локти скинет, да шейкой лебединой поведет, да платочком помашет, да... что говорить! Тяжко велижским мужикам, хоть и нет среди них сеньоров! Холостым-то куда ни шло. А вот женатым, по законам веры своей — православной ли, униатской, католической, или, извините за выражение, иудейской — обвенчанным, поклявшимся, стало быть, перед Господом Богом своим нести до конца дней бремя угодной Богу супружеской верности, — ох, как тяжело им на Марью Терентьеву глядеть, когда проходит она по улице в цыганских юбках своих и цыганской шали своей, и бедра ее округлые зазывно покачиваются, а глаза, отороченные опахалами густых ресниц, насмешливо так подмигивают...

Как тут, в самом деле, не проснуться инстинктам? Как не вырваться из узды подавляемой в глубинах подсознания греховной похоти? Вы можете дать гарантию, что устояли бы? Я вас поздравляю. А вот Хаим Хрипун — не устоял!

Вы думаете: не устоял, и не устоял — кому это интересно? Мы грешны, а Бог, слава Богу, милостив. Так об этом же я и говорю! Если так невтерпеж стало Хаиму Хрипуну, ну, подкараулил бы в укромном углу Марью Терентьеву, ну, дал бы приложиться к бутылке; а там — задирай цветастую Марьину юбку да поваляйся с ней под забором. Это же она так только, для куража одного про гордость свою говорит. Кто же не ведает в Велиже, что царская влага милее Марье царского обхождения?

Но Хаим Хрипун есть Хаим Хрипун. Он такой! Если возьмется за что, то обстоятельно все обмозгует, да не как-нибудь тят-ляп сделает, а с деловитой еврейской основательностью.

Словом, вы уже догадались. Совершенно верно. Хаим Хрипун женился на Марье Терентьевой...

Вы, наверное, думаете, что он окрестился и по всем правилам христианским с Марьей обвенчался?

Послушайте, стал бы я вам такими пустяками мозги забивать! Эка была бы невидаль, если бы еще один еврей от веры отцов отступил! Мало что ли их на каждом шагу? Про ксендза католического Подзерского не слыхали? Еще услышите. Он ведь из бывших евреев. Неплохо устроился! Сытная это должность, скажу я вам, — пасти христианскую паству. А про Антона Грудинского знаете? Ничего, и о нем узнаете — это я вам обещаю. Он тоже в христиане из бывших евреев переметнулся, хотя как ходил в рубище, так и остался. И лейб-гвардии рядовой Финляндского полка Федоров тоже, представьте себе, бывший еврей! Так что не волнуйтесь — подобной ерундой я вас морочить не стану. Я вам про другое рассказываю. Про Хаима Хрипуна.

Он тоже из бедных, наш Хаим. Это *им* мерещится, что все евреи богачи. Почему *им* так мерещится? Откуда я знаю! Видно, Богу угодно, чтобы им так мерещилось. Чужой карман всегда толще. А тут еще эта глупая страсть наряжаться. Сколько раз кагалы постановления грозные издавали: строго запрещаем, мол, в дорогих одеждах и украшениях щеголять; от них, мол, одно разорение для евреев да ненужная зависть у окружающего населения. Раввины на ослушников херем наложить грозилась. Что, скажите, страшнее для набожного еврея, нежели херем — отлучение от синагоги? И что бы вы думали? Не помогает!

У иной, пока муж ее в бет-гамидраше над книгой качается, весь промысел, может быть, в том только и состоит, чтобы селедку, за шесть копеек купить, на восемь кусков разрезать да по копейке кусок продавать. И сидит она на базаре со своей селедкой с утра до вечера, и не один день все с той же селедкой сидит. А суббота приходит — она в диадеме золотой да ожерельях жемчужных красуется. А что в доме пусто, и долгов выше головы, и дети не кормлены, и даже субботний кугель не из чего спечь — это ведь на ней не написано. Но мы с вами знаем: как русские, белорусы, поляки, так и евреи — у одного в кармане звенит, а у десятерых ветер свистит.

Отец Хаима был балагулой.

Вообще-то балагулы неплохой парнос имеют. Если лошади свои, и обоз свой, и есть на что помощника нанять... Но Гирша, отец

Хаима, был не из тех, кто помощников нанимает, а из тех, кого нанимают. В стужу, в зной, в слякоть — все возил чужое добро, и даже лошадью своей не обзавелся. Иной раз и заработает кое-что, самый бы раз лошадь купить. Да подать двойную в казну — уплати! Кагальный сбор тоже не шутка. А супруга законная пилит Гиршу: людям стыдно в глаза смотреть, у соседок всех новые платья, а я, выходит, хуже других. Вздохнет Гирша, вывернет карманы, да снова на козлы взбирается. Так всю жизнь на чужих лошадях и проездил. Вечно простуженный, охрипший — потому и прозвали его Хрипуном; к сыну прозвище уж фамилией перешло. Ну, и с Богом у Гирши были сложные отношения. То, что Тору Гирша не особенно разумел, было еще полбеды. Тут важно кагальный сбор исправно платить. Так уж устроил мудрый Господь: если ты не учен, то за тебя Талмуд-Тору другие изучать будут и перед Богом за тебя похлопочут. А чтобы они могли спокойно за тебя хлопотать, ты работай усердней да взнос кагальный исправно делай: ученым людям о хлебе насущном заботиться не пристало. Тут баш на баш. Надежно, удобно, взаимовыгодно. Ты об их земной жизни старайся, а они за то о твоей небесной похлопочут. Разделение труда. Однако же одно «но» сильно беспокоило Гиршу Хрипуна. Знал он твердо, что хлопоты о душе его со стороны ученых людей тогда только могут быть успешными, если он сам все 613 заповедей Господних неукоснительно соблюдает. Это уж всенепременно.

Но легко говорить — соблюдать все заповеди! Я вам вот что про это скажу: когда застанет в поле пурга и вы, продрогнув и голос потеряв на морозе, заявитесь в трактир, и хозяин поставит перед вами миску наваристых щей, так вы не очень станете допытываться, на кошерном ли мясе эти щи сварены. И если вы задержались в пути, а тут подоспела суббота, то вы помóлитесь Богу и дальше будете ехать. Словом, знал за собой немало грешков Гирша Хрипун и очень сокрушался о том, да надежду имел: вырастет сын, работать начнет, скопят они деньжат, купят лошадь, а там и работника наймут, и сам Гирша уже не будет в дальние извозы ездить. Будет усердно изучать Тору, соблюдать все заповеди, горячо в синагоге молиться. Глядишь, Господь Всеблагий и простит ему все прегрешения.

Но человек предполагает, а Господь располагает. Иначе распорядился Господь.

Как стукнуло пять годочков Хаиму, Гирша повел его в конец улицы, в покосившийся дом ребе Менделя, сердитого меламеда, беспощадно лупцевавшего учеников своих цепелинкой, особенно тех, за кого плату годами приходилось ждать.

Вел за маленькую детскую ручку Гирша Хаима, что-то веселое пытался говорить своим хриплым голосом, а у самого саднило в груди, сердце кровью обливалось, и боязно было в глаза сыночку малому своему заглянуть. Знал Гирша, сколько лишних окриков и ударов придется вынести мальчику от сурового меламеда из-за одной только его, Гирши, бедности. И бесконечно виноватым перед сыном своим чувствовал себя Гирша.

Боялся он меламеда страшно! Если где на улице встретит, то издали еще кланяется, да все просит униженно с платой немного еще обождать. А меламед разведет руками да в широченной улыбке и расплывется.

— Что вы, что вы, реб Гирша! Какой разговор. Это я вам должен приплачивать. Я тридцать лет меламед, а такого мальчика, как ваш Хаимке, у меня еще не было! Бог даст, выйдет из него великий раввин. Только бы не сглазить! Тьфу, тьфу, тьфу, — и реб Мендель трижды сплевывал через плечо.

Расцветет от таких слов реб Гирша, радость великая захлестнет его теплой волной.

— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши, реб Мендель!

Конечно, о том, чтобы сделался сын раввином, не ему, балагуле безлошадному, мечтать. Однако подучится Талмуд-Торе Хаимке, и не будут, как самого Гиршу, называть его презрительно «амгаарец», что значит — невежда. Знающие Талмуд-Тору юноши в еврейском обществе в немалой цене. Если Господь захочет, так, может быть, состоятельный человек возьмет Хаимке к себе в зятя! Вот и будет ему счастливая жизнь. И место в синагоге у восточной стены, и почет в обществе, и сытный кусок на столе. Но это потом. А пока пусть выучится поскорее да помощником в извозном промысле станет.

Однако сам Хаимке иначе, чем отец его, принимал неумеренные похвалы ребе Менделя. Подрос Хаим, и честолюбивые мечты его обуяли.

— Учился я в хедере изо всех сил, а понял только то, что ничего еще не знаю и в великой науке нашей еврейской не разумею. Буду, отец, дальше учиться.

Гирша за голову схватился и побежал с подношением к самому раввину.

— Ребе, — говорит Гирша, — я так надеялся, что сын станет мне помощником, и тогда у меня будет своя лошадь, я найму работника и стану молиться о прощении грехов моих тяжких, потому что, скажу вам по секрету, ребе, когда в пути вас застанет суббота, вы все равно будете ехать, и когда вы голодны, а на пути у вас корчма, то вы в нее входите и кушаете то, что дают.

— Я тебя понимаю, — ответил раввин, — но и ты пойми своего сына, потому что не его это воля, а Господня. Берет себе Господь сына твоего, ибо Господу принадлежат все первенцы. Гордись, — говорит, — Гирша, и ездь на чужих лошадях. Не противься воле Господа, и он простит тебе твои прегрешения, а сына твоего возвеличит.

— Вы так думаете, ребе? — с сомнением спросил Гирша Хрипун.

— Я в этом уверен, — ответил раввин.

— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши! — вздохнул балагула и поплелся домой.

— Учись, — сказал Гирша Хрипун сыну своему Хаиму, — учись, коли так угодно Господу.

Сунул Хаим в котомку смену белья, Тору, кусок хлеба да две крупные луковицы, обнял залившуюся слезами мать, забросил котомку за спину и пошел из родного дома по полям да по весям.

Кочевал Хаим из общины в общину, из одного ешибота в другой ешибот, от одного знаменитого ребе к другому знаменитому ребе, от одного святого цадика к другому святому цадику. Кормился Хаим «днями» и целыми днями раскачивался над Талмуд-Торой, бормоча себе что-то под нос.

Вы знаете, как кормятся ешиботники «днями»? Это очень просто. Еврею ведь засчитывается на том свете, если он берет на «день» ешиботника. Один берет на вторник, другой на среду, третий на воскресенье. Так и ходит обедать юноша каждый день в другой дом. В бедных домах хорошо: там ртов много, все вместе за стол садятся, и всегда тарелка супа для юноши ради Бога найдется. Ну, а у богачей можно и не дожидаться обеда. Не из скупости, Боже упаси, а потому, что заняты всегда богачи, крутятся целый день, на ходу перехватывают. Догадается служанка сунуть ешиботнику кусок хлеба — хорошо. А не догадается, так и идет он несолоно хлебавши дальше над Торой качаться.

А то и вовсе не удастся пристроить Хаима на какой-нибудь день. Набрали уж обыватели ешиботников, с Богом счета свели, и хватит с них. Шесть дней для Хаима кое-как раздобудут, а на седьмой, четверг какой-нибудь, остается Хаим без пищи. Что же с того? Пост учению не помеха.

Мало ему дня, так он и ночами все над книгами сидит, свечи жжет, в самые сокровенные тайны Талмуда и каббалы проникнуть старается.

Побледнел Хаим, похудел, осунулся, кожа одна сухая, да кости торчат, да выпуклые глаза еврейские блестят лихорадочным блеском.

Зато как вернулся Хаим в родной Велижград, так сразу слава о нем разнеслась великая. Даже из Витебска, несмотря на молодость Хаима, стали приезжать к нему за советом евреи, и — можете не поверить, но я вам все же скажу — если бы из самой Вильны кто-нибудь пожаловал, так не пожалел бы!

Теперь вы понимаете, кто такой Хаим Хрипун? Да? Не торопитесь. Скажите лучше, как же он вышел из положения с Марьей Терентьевой?

Ах, вы пожимаете плечами! Значит, вы еще не знаете Хаима Хрипуна! А ларчик открывается просто. Если гора не идет к Магомету, то Магомет топает к горе. Так говорят на востоке. Если Хаиму, с Божьей помощью, никак нельзя перейти в христианство, то кто, скажите, мешает Марье Терентьевой стать иудейкой?

Ну, вот! Теперь, наконец, вы все понимаете!

Как еврею перейти в христианство — это всяк знает. Вы находите двух христиан, мужчину и женщину, и идете с ними в церковь. Батюшка вас водичкой обрызгает, осенит крестным знаменем, наречет именем пристойным, в книгу про все то запишет, и полный порядок. Готово! Вошли вы в церковь жидом пархатым, а вышли христианином. Теперь любого еврея вы можете схватить за бороду, тряхнуть так, чтоб глаза его на лоб выехали, и отпихнуть прочь жидовскую его морду.

А вот христианину в иудейство перейти — это совсем другое дело. Тут процедура сложная и — как все у евреев — тайная. Ну, да Марье Терентьевой она теперь ведома. Слушайте, как Марья про то объясняет.

Сперва-наперво, значит, неделю цельную ее по еврейским домам водили, вином потчевали, кушаньями всякими еврейскими угощали, речами приятными услаждали, на пуховые перины спать укладывали, обхождением, стало быть, еврейским ублажали.

А в конце той дюже для Марьи пригожей недели три молодичи еврейские сняли с нее платье цыганское неопрятное; если что под платьем было, так то тоже сняли, и искупали в полное Марьино удовольствие, — да не в воде, а в вине — игристом, терпком, пахучем, тело марьино, давно немытое, приятно пощипывавшем и разогревшим.

После того хуже пошло. Накинули молодичи на голую Марью грубую мужскую шинель и в виде таком, задами, задами, чтобы не повстречать кого, привели на берег Двины: давай, говорят, Марья, в Двину окунись, иначе не видать тебе в мужьях Хаима Хрипуна, как своих ушей.

А дело-то весеннее, аккурат на святой неделе; только что снег сошел, вода в реке ледяная; не хочется Марье в воду сигать. Но за веру и не туда сиганешь, особливо, если шибко замуж хочется. Шинель Марья сбросила на руки еврейкам, передернула плечиками от озноба, глаза свои воловыи опалами прикрыла, присела слегка и бултых в студеную водицу. С визгом выскочила Марья, на одной ножке прыгает, грудями друг о дружку стучает, волосы отжимает, а еврейки ее в шинель укутывают и прямоком в Большую еврейскую синагогу ведут, которая, значит, на Школьной улице. А там уж с еврейской предусмотрительностью все приготовлено. Евреев целая толпа набилась; Марью промеж себя поставили, да теперь мужики с Марьи шинель стащили, и стоит она среди них, как Венера Милосская, а они словно и не глядят на нее, словно в сторону глазищи свои выпученные отводят, а сами-то зырк, зырк, да все под пупок марьин норовят заглянуть.

Зло тут Марью взяло, потому как кому же охота выставляться без угощения! Она уж и язык одному глазастенькому высунула, а другого нахалюгу уж пяткой хотела в интересное место пнуть — долго помнил бы Марью Терентьеву; да тут подходит к ней старик, седой весь, как лунь, на макушке шапчонка бархатная, борода густая, серебристая, как у Бога-Отца Саваофа, струится, а осанка гордая, величавая, точно царь аль епископ какой, аль опять же сам Бог Саваоф, а не жидок задрипанный. Торжественно руку старик поднимает и говорит густым голосом такие слова:

— Надобно тебе, Марья, перейти через жидовский огонь!

— Я с моим удовольствием, — отвечает старику Марья, — опалами своими подмигивая, потому как дюже понравился ей величавый старик.

И только сказать успела, как подхватили ее под руки и прямо босыми ногами на горячую сковородку поставили.

Завопила тут Марья, забилась вся.

— Ах вы, жида, — кричит, — окаянные! Я вам не сука, — кричит, — подзаборная! Я обхождение о себе понимаю! Что же вы, — кричит, — со мной де...

Тут ей рот зажали, чтобы крика не слышно было, а со сковороды сойти не пускают и вокруг хороводом бегают.

Все быстрее да быстрее крутится еврейский хоровод вокруг Марьи. Талесы молитвенные развеваются, словно бабьи юбки, а юбки еврейские атласные, серебром-золотом шитые, развеваются, словно талесы, и бороды, и полы длинных кафтанов, и ожерелья жемчужные, и шапчонки черные бархатные — все крутится, кру-

тится, мелькает перед Марьей в том хороводе, а сковорода все раскаляется, и нестерпимая боль пронзает Марьины ноги, и уже не поймет Марья, евреи ли это с еврейками вокруг нее крутятся, или черти на адском огне ее, грешницу, жарят.

— Присягни в верности евреям! — кричит ей в ухо величавый старик с бородою в колечках, и все вторят ему приглушенно:

— Присягни! Присягни! Присягни!

— Отрекись от Христа и всего своего рода! — кричит уже в другое ухо ей тот же старик, и повторяют все:

— Отрекись! Отрекись! Отрекись!

— Прими еврейскую веру! — опять выкрикивает старик, и все опять вторят:

— Прими! Прими! Прими!

Замотала тут Марья головой, освободила рот свой от зажимающих его ладоней и завопила благим матом:

— Да согласная я, я же согласная!

И так жалко ей стало свои ноженьки белые, плавно и зазывно покачивавшие ее стройное тело с округлыми бедрами, что залилась она горючими слезами.

Меж тем, хоровод остановился; сняли еврейки Марью со сковороды, надели на нее еврейскую рубаху, а обожженные ступни холодящей желтой мазью обмазали и холстом обвязали. Старик тот главный величавый взял Марью за руку, подвел к шкапику, в котором хранилось десять еврейских заповедей, и приказал отрицаться.

— Повторяй, — говорит, — за мной: отрицаюсь Христа, христианских Богов и всего моего рода!

Марья все послушно за ним повторила.

— Теперь ты зовешься Саррою! — провозгласил величавый старик. — Мы даем тебе в мужья еврея Хаима!

С этими словами старик опять взял Марью за руку и вывел ее в особую комнату.

Глядит Марья, а в комнате две кровати стоят. Ну, в одну из них она и юркнула. Старик вышел, а вместо него вошел Хаим Хрипун. И лег на другую кровать.

Да, он лег на другую кровать, этот предусмотрительный Хаим!

Он лежал на другой кровати, и тело его не шевелилось, потому что в душе его шла борьба. Видит Бог, как он старался одолеть свою греховную похоть, этот Хаим! Он очень старался. Вы можете мне не верить, но Бог тому свидетель.

Однако, что поделаешь, если так силен дьявол? Что поделаешь, если дьявол сильнее нас, грешных, даже тех из нас, кто превзошел всю Талмуд-Тору? Может, и выдержал бы искушение Хаим, да Марья заскучала вдруг одна на своей кровати. То так повернется, то эдак. Одеяло вовсе скинула. То эдак, то так прелести свои выставляет.

— Изыди! — кричит ей Хаим Хрипун со своей кровати. — Сгинь, Марья! — кричит.

— А вот и не сгину, — Марья смело ему отвечает, — потому как законное право имею, ибо не Марья я теперь, а Сарра; зазря что ли я через жидовский огонь перешла!

И прелести свои опять выставляет...

Вы говорите, что устояли бы? Ваше счастье! А вот Хаим Хрипун не устоял. Не помогла ему Талмуд-Тора. Не удержал в узде греховную похоть. Перешел-таки предусмотрительный Хаим на Марьину кровать.

А там, сами понимаете, вся Талмуд-Тора из головы вылетела. И стал Хаим Хрипун выкрикивать «бис!» А Марья, как загодя научили ее евреи, на это отвечала: «ну, себе!» И ласкал Марью Хаим Хрипун, как ласкают жену.

Ах, Хаим, Хаим, что ты наделал, Хаим! Что ты натворил! Все-то ты с еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, про одно только ты, Хаим, забыл. Про то ты забыл, Хаим, что закон твой иудейский, который ты так усердно изучал, что за советом к тебе приезжают даже из Витебска, а если б из самой Вильны кто пожаловал, то не пожалел бы, — так вот, закон этот позволяет иметь только одну жену!

Когда-то было не так. Когда-то было иначе! Праотцам народа твоего, Хаим, — Аврааму, Исааку, Иакову — разрешалось иметь по две жены. И даже немножечко больше. И Бог был к ним милостив. Бог не пенял им на то. А премудрый царь Соломон, предусмотрительный ты Хаим, имел столько жен, что ты, Хаим, при всем усердном учении твоём, так и не смог их всех сосчитать! И все же милость обрел царь Соломон в глазах Господа.

Но — много воды утекло с тех пор в священной реке Иордане, Хаим! Да и Двина-река не священная, к которой так славно прилачился Велиж-городок, тоже не стояла на месте. Много воды утекло — строже стал иудейский Бог! Теперь он дозволяет иметь только одну жену. Не больше. И скажи, Хаим, разве он не прав? Скажи, Хаим, чем тебе плоха твоя Рива, что ты позарился на округлые бедра уличной твари?

Или ты все позабыл, предусмотрительный ты Хаим?

Вспомни! Как вернулся ты из скитаний твоих, да как стал пожать всех старейшин израильских своею ученостью, да как стали приезжать к тебе за советом из других городов и местечек евреи, так обеспокоились сильно старейшины и собрались на тайный совет.

— Широко пошла слава о нашем Хаиме, — сказал один, — а раввин наш старый жив себе, слава Богу, и никто не знает, когда Богу угодно будет взять его к себе. Молодой Хаим разве станет ждать? Не сегодня-завтра пригласят его в другой город, и останемся мы без раввина, потому что наш старый раввин, слава Богу, уже очень стар, и не сегодня-завтра Господь позовет его к себе. Так что же нам делать? Как нам удержать с Божьей помощью Хаима Хрипуна?

Долго думали старейшины, цокали языками, качали головами, пока один из них не сказал:

— Рива.

И второй сказал:

— Рива.

И третий сказал:

— Рива.

И пошли они всей гурьбой к ребе Лейблу и сказали:

— Ребе Лейбл! Рива.

— Что? — изумился ребе Лейбл. — Чтоб я так жил! Разве я плохой еврей? Разве я не выполняю все запреты и заповеди? Разве я не жертвую на бедных и не кормлю «днями» сразу двух ешиботников? За что же вы желаете мне такого позора, чтобы я взял в зятя сына этого охрипшего балагулы, который так и умер, лошади своей не заимев и оставшись самым последним невеждой в городе?

— Что верно, то верно, — вздохнули старейшины, — Гирша Хрипун был амгаарец, да простит ему Господь все его прегрешения. Но зато сын его Хаим, да живет он, — лучший талмуд-хахам в нашем городе. К нему уже ездят за советом из Витебска, и вот-вот из самой Вильны кто-нибудь пожалует. Ваша красавица Рива, да живет она, — единственный способ удержать его у нас. А вам, реб Лейбл, будет почет и на том свете зачтется, что не богатого, а ученого взяли к себе в зятя.

Потом-то и тебя посвятили в этот хитрый еврейский заговор, Хаим Хрипун. Что? Вспомнил? Такой шумной свадьбы никогда не было в Велиже! А как хороша была в белом платье раскрасневшаяся Рива, когда стояли вы под хупой, и ты надевал ей кольцо на

тонкий и длинный палец! Она смотрела на тебя влюбленно, Хаим; в широко открытых ее влажных глазах была гордость, Хаим, и страсть, и тревожное изумление, словно она немного стыдилась своего счастья. А тебе желал вам мира, и долголетия, и многих детей, и вы клялись перед Богом в верности и в знак нерушимости вашего союза пили терпкое вино из одного и того же тяжелого серебряного бокала...

Ну, вот, теперь ты вспомнил все, Хаим Хрипун! Теперь ты вспомнил. Так скажи хоть теперь, что же ты натворил?

Бог правду видит.

Бог правду любит.

Бог карает за грехи.

И вот тебе результат, предусмотрительный ты Хаим. Сидишь ты, Хаим, в темнице сырой, ни тебе Талмуда, ни тебе Торы, ни тебе Ривы, ни тебе Марьи Терентьевой. Ты кричишь «гвалт» на всю вселенную.

Тихо, Хаим. Ша! Что ты кричишь? Замолкни. Не бей себя кулаками в голову, не греми оковами твоими, не рви на себе рубаху, запахни ее на волосатой, неумолимо седеющей груди. Все-то ты с коварной еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, одного ты не можешь взять в толк забитыми Талмуд-Торой мозгами твоими, что воплей твоих все равно никто не услышит.

Один только следователь Страхов слышит твой вопль, но следователя Страхова ты не проймешь. Следователя Страхова не подкупишь. Не только что у тебя, сына безлошадного балагулы, но и у богатого тестя твоего и у всего кагала еврейского не хватит денег, чтобы подкупить следователя Страхова! Следователь верен присяге. Он знает свой долг и исполнит его до конца. Не то, что ты, лживый и жуликоватый еврей, готовый все перевернуть и от всего отпереться, потому что по вере своей иудейской в мыслях своих ты можешь от клятвы и от присяги любой отрицаться.

Следователь Страхов не лыком шит; он вас, евреев, насквозь видит. Так что замолкни, Хаим, как бы на голову твою, Талмуд-Тору всю вдоль и поперек изучившую, еще большей беды не накликаешь.

Глава 2

Государь ты наш, батюшка! Милостивец ты наш ненаглядный! Ангелок ты наш ласковый! Господом Богом самим над нами поставленный! Где улыбка твоя херувимская? Отчего очи твои грустью подернуты, слезой ангельской заволочены?

Разумеешь ли ты, государь наш нежнейший, кто ты такой на свете Божьем есть? Ить ты государь наш! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Ить ты, государь наш, самодержец есть, и нет никого главнее тебя. Ить ты можешь всякого, ну просто любого, хучь министра, хучь генерала аль губернатора там какого-нибудь орденами обвешанного, на ноготочек свой розовенький положить, другим ноготочком придавить да кишочки и выпустить! И даже не заметишь того, государь. Потому как самодержцем ты от Господа над русской землею поставлен. Вот какой ты у нас государь-император есть! И любимся мы тобой, государь, не нарадуемся. Бери всякого, на ноготь клади. Только помедли чуток по безграничной милости твоей, дозвожь успеть ноготок твой с радостью облобызать, а там — дави, выпускай кишочки, государь! Кто следующий? С превеликим благоговением следующий на ноготок взбирается, быстро, чтобы задержки не вышло, ноготок твой целует и по всей форме докладывает: так и так, государь ненаглядный, к высочайшему кишочков выпусканию готов! Жду не дождусь милости великой самодержавным ноготком раздавленным быть! Потому, как ты — государь наш, а мы вошки пред тобой, и милость для нас и честь великая на ноготке твоём высочайшем раздавленными быть!

Что же ты не давишь нас, как нечисть поганую?

Не давишь ты, государь! Ангельской улыбкой ты нам улыбаешься. Милостиво ты нас выслушиваешь. Грустными глазочками своими, словно святой угодник с иконы, на нас ты смотришь. Чинами-то ты нас одариваешь, орденами ты нас, недостойных, увешиваешь, пенсионами наделяешь...

Разве ж это по-христиански, ангелок-голубок ты наш ненаглядный! Ить беспокойно на сердце у нас от милостей твоих — ох как беспокойно!

Приказал бы, что ли, на конюшне выпороть перед орденом аль пенсионом — на сердце-то легче было бы награды твои принимать. Нет, ты запретил пороть. Не токмо дворян — даже попов да дьяков теперь пороть не приказано. Солдатам легче — их по-прежнему из милости твоей, государь, шпицрутенами лупцуют. Крестьянам тоже привычно: как драл их помещик, так и дерет. Но не всем же сразу, государь! В отменении битья надобно соблюдать постепенность. Вот пытки-то, пытки при расследовании преступлений всяких ты, батюшка, отменил. Теперь еврей христианского дитятю замучит, а его и на дыбе не растяни, и огнем не пожги, и плетью не посеки, и даже по гнучому еврейскому носу не съезди. Как же, сознается он тебе!

С конституцией тоже ты намудрил, государь. В Польском-то царстве сейм. В Польском-то царстве вольности всякие с давних времен заведены. Так ты, яснокий, Польское царство зацапал, а к ногтю те вольности прижимать не стал. Пусть пользуются подданные — ты ведь не деспот какой восточный, ты ведь государь гуманный, европейский, тебя по системе Руссо бабка твоя воспитала. Ты и Финляндскому княжеству вольности его сохранил. Оттяпал княжество — и сохранил. И даже России-матушке ты конституцию даровать обещал.

Отец! Благодетель! Херувим! На кой она нам к лешему, конституция эта? Что мы — ляхи-паписты какие-нибудь, не православный мы что ли народ? Ты лучше нас к ногтю, к ноготку твоему розовенькому прижми да кишочки и выпусти, а ты — конституцию обещаешь! Ну, обещанного три года ждут, а тут уж шесть годков пробежало... Вместо конституции ты военные поселения народу своему даровал. Вот это по-нашему, государь. По-нашенски это!

Ать-два, ать-два. Землю попашем, ружьишком помашем. Корм скотине зададим, в карауле постоим. Розги из лесу возами вывозим. Девоч в строй строим, строим замуж выдаем, по команде бабами делаем. Молодицы у нас молодцы, государь: младенцев по плану рождают. Не Платонов, конечно, и не светлых разумом Невтонов, государь, — извини! План-то нам по валу, по количеству то есть, спускают, да еще встречный план требуют — где тут о качестве думать? Зато по валу, государь, натягивают план молодичи наши, иные и перевыполняют. Рекорды производительности ставят, государь! И ни одного еврея в округе — некому младенцев тех резать. Но — туго с планом, государь, ой как туго с планом! Мрут поселяне, как мухи на липучей бумаге. Сколько ни нарожай их — помирает больше. Дисбаланс в планировании, государь! Дефицит. Все от улыбки твоей ангельской. Все от улыбки.

Не вели казнить, вели слово молвить, потому как ты, государь, критику уважаешь.

Ты доверие к кадрам осуществляешь. И правильно делаешь, государь. Правильно! Довольно папашка твой набуянил. Как вспомнишь его личико обезьянье — мороз по коже до сих пор дерет. Ать-два — приказ. Ать-два — докладывай исполнение. Не исполнил — взбирайся на ноготок. Вот генералы дрожали — любодорого было смотреть!

Ты не такой, государь. Нет, ты — не такой! Кадрам ты доверяешь. Доверяй, государь, но — проверяй! А тебе некогда проверять: ты грехи по монастырям замаливаешь. Оно богоугодно, конечно. Да ведь кадры-то тем временем матушку-Русь, тебе Богом вверенную, по камешку-по кирпичику всю растаскивают.

Добро бы растаскивали только, да ведь иные и заговор против тебя умышляют. Ну, не знал бы ты о том заговоре, и не знал бы. Но ведь ты знаешь, государь! Это дело у тебя крепко поставлено, тут кадры надежные. Ранее самих заговорщиков все умыслы их злодейские тебе ведомы. Ты бы пальчиком, пальчиком только шевельнул, и вот они, заговорщики, — на ноготке твоём розовом: все к твоей милости, государь.

Но ты улыбкой своей ангельской улыбаешься, глазами своими грустными смотришь, на волю Божию уповаешь...

Да кому ж, как не тебе, смуту пресечь! Ведь порешить тебя, государь, хотят! И порешат, ежели не упредишь их, как сам ты папашку своего порешил, потому что не упредил он тебя.

...Что это с тобой, государь? Почему светлый лик твой страшная исказила гримаса? Ах, да!.. Папашка твой, крест царствования твоего!.. Не хотел ты этого, государь. Видит Бог: ты — не хотел. Так сам Бог рассудил — стало быть, нет на тебе вины. А поди ж ты — стоит папашка перед глазами твоими, больше двадцати лет стоит образ его пред тобой, и не грозным государем, в мундир затянутым, перед кем ты сам не меньше министров и генералов трепетал, а жалким маленьким клубочком дрожащим стоит он перед ангельским взором твоим. Глазки-то его затравленно бегают. Ручки-то его крохотные, с пальчиками вращающимися, подрагивают. Шейка-то его тонкая, как у гуся общипанного, торчит из ночной рубашоночки...

Ведь он уж и свечи в опочивальне своей загасил, одеялом укутался да сладкие сны начал глядеть; а тут — топот сапожищ, пьяная ругань, брань площадная. Он только и успел, папашка твой, в рубашоночке ночной с постельки соскользнуть, да головкой обезьяньей в камин воткнуться. Забился в угол — одни пяточки голенькие торчат. Ну, за пяточки его из камина и выволокли.

Он упирается, бедный, ручонками-то врастопырку закрыться хочет. Ну, чисто дитя малое, вроде младенчика того, в граде Велиже убиенного.

— За что вы меня, — спрашивает болезный, — что я вам сделал плохого?

Не понимал, вишь, что плохого делает!

А ему — кулачищами — по зубам! Кулачищами бабушке твоему махонькому. Да золотой табакеркой, чтоб ярче физию разукрасить. А потом только шарфик красный на тонкую шейку гусиную повязали да за концы потянули. И всё. Глазки тут его закатились да язык вывалился...

Государь! Ты ж сам не был при том! Ты ж в дальних покоях дожидался! Отчего же не грозным государем, в мундир затянутым, а жалким трясущимся беспомощным комочком в ночной рубашоночке стоит папашка перед ангельским взором твоим?

Вот оно — наказание Господне!

Ах, как рыдал, как убивался ты в ту страшную ночь! Главный разбойник тебя даже за руку без всякой почтительности схватил да силой на балкон вытолкнул, рывкнул в самое ухо:

— Хватит ребячиться, Ваше величество, ступайте царствовать.

Не добром началось царствие твое, государь, добром ли кончится? Сколько дел великих ты с Божьей помощью за годы сии свершил! Сколько земель к России-матушке присоединил! Наполеона-узурпатора одолел. Священный союз с государями заключил. Наслаждается теперь Европа миром да тебя, государя Благословенного, славит.

Только не простил тебя Господь! Ты-то знаешь про то. Ты-то знак от Господа имеешь. Запечатал Господь чрево супруги твоей, не даровал тебе, государь, наследника.

Убивается супруга твоя Елизавета Алексеевна, императрица Всероссийская, царица Польская, великая княгиня Финляндская и прочая, и прочая. Винится перед тобою супруга твоя за бесплодие чрева своего. Только знаешь ты, государь, — не ее в том вина. Потому как на тебе кровь отца твоего. Ради тебя, ради греха твоего запечатал Господь ее чрево.

Вот и маешься ты, государь. Носят тебя тройки из монастыря в монастырь. Только не внемлет Господь молитвам твоим, потому как растаскивают кадры-то царство твое.

В последний раз покидая столицу, ты снова в Лавру завернул. Помнишь, небось, келью старца того, коего ты посещением своим удостоил. Мрачная келья, вся черным сукном оббита, и большое

распятие у левой стены. А за загородочкой гроб на столе, в нем схима, свечи и все прочее, что надобно для погребения.

— Это — постель моя, — сказал тебе старец, — и всех нас. В нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго.

Смотрел ты, государь, грустными глазами в тот гроб, все представить хотел, как схимник в нем лежит, только другое тело мерещилось тебе в том гробе. Он, папашка твой, с густо загримированным обезьяньим лицом да укоризненной, к тебе одному обращенной улыбкой на мертвых губах.

Вот он, последний тебе знак от Господа! Не прощен грех твой, государь.

Опять катишь ты через Россию твою — потому что обрыдли тебе дела государственные. Ты бы уж давно отрекся от престола твоего, да медлишь ты, государь, все ждешь, не выйдет ли вдруг знак от Господа о прощении грехов твоих тяжких.

Ох, не дожидаться тебе, государь, того знака! Ох, не дожидаться! Не добром началось твое царствие, так добром ли кончится?

Наследник престола твоего брат твой единокровный своевольничать вздумал. Тебя не спросив, с царственной супругой своей развелся да на шляхетке простой женился, дав повод для пересудов всем европейским дворам. Ты милостив, государь: шляхетку ту мигом в княжеское достоинство возвел. Но своеволия братца ты не потерпел, благо папашка твой, не в пример тебе, плодовит был изрядно. Своевольного братца ты отречься заставил, меньшому братцу повелел трон наследовать. Такова воля твоя самодержавная, потому что ты, государь, самодержец есть: что хочешь, то и воротить в государстве твоём. Переменил ты наследника, а бумаги о той перемене в тайне содержишь, а почему — про то сам не ведаешь. Может, боишься ты наследника нового своего? Или старого? Как бы и твой наследник не прислал в опочивальню твою разбойников с шарфиком да золотой табакеркой. Пускай-ка лучше братья твои сами не разумеют толком, кто из них истинный престолонаследник...

Смотри, государь, с огнем ты играешь! А ну, как призовет тебя вдруг Господь — что братцам-то твоим тогда делать? Пока выяснять будут, кому кого на ноготок можно класть, злоумышленники-то небось спать не станут. В тот самый момент, может, и захотят трон царский в огне спалить...

А, ладно, на все воля Божия!

Устал ты, государь, от тяжелой думы твоей, да и дорога утомила тебя изрядно. А тут на пути славный городок, и солнце багровое как раз на макушках дальнего леса повисло. В аккурат здесь и заночевать.

— Князь! — отрываешься ты от грустных дум, государь, — от границы губерний своих сопровождаешь нас, князь, а о владениях не рассказываешь.

— Не смею беспокоить! — по-военному отчеканивает князь Хованский, генерал-губернатор Витебский, Смоленский да Могилевский — орденами увешанная мелкая вошь полосатая.

— Скажи-ка, милейший князь, что это за городок уютный такой мы проезжаем?

— Велиж, Ваше величество! Велижем прозывается! — опять отчеканивает князь.

— Здесь очень мило, князь. А нельзя ли здесь остановиться на ночь?

— Распоряжения сделаны загодя! — отчеканивает князь. — Только... позвольте доложить?

— Что у тебя, князь? — спрашивает государь.

— Неудобство имеется, Ваше величество!

— Какое же?

— Жидов в этом городе много, — понизив голос до полупшепта и наклонившись к государю, докладывает князь.

— И что же они? Сильно кусаются по ночам? — ангельская улыбка озаряет на миг грустное лицо государя.

— Не извольте беспокоиться, Ваше величество! Мы их живо! — радостно рявкает князь.

Государь болезненно передергивает плечами.

— Усердно служишь, князь!

— Рррад стараться, Ваше величество! — по-фельдфебельски рявкает князь, но вдруг осекается, заметив презрительную гримасу в лице государя. Экий ведь солдафон!

— Старайся, князь. Только не переусердствуй, — говорит государь, снова ангельски улыбаясь.

Крепкая шея князя Хованского наливается краской, на лбу мелкими бусинками проступает испарина.

— Почему остановка? — обычным своим ровным голосом спрашивает государь. — Разве уже приехали?

Выглянув в окно кареты, он видит небольшую толпу в почтительном отдалении — аккуратную, несмелую, приглушенно гудящую горстку людей, каких немало приходилось ему встречать в скитаниях по России, а впереди всех — баба в цветастых юбках; на коленях стоит, в низком поклоне к земле лбом прикасается и в вытянутой вперед руке бумагу, трубочкой свернутую, держит.

— Что надобно этой женщине? — строго спрашивает государь. — Встань, милая, смело говори об обидах твоих твоему государю!

Баба спину разгибает, и видит государь, что крупные светлые слезы струятся из ее огромных, опахалами густых длинных ресниц притененных, глаз.

— Я женщина бедная, — всхлипывает баба, — но гордость тоже о себе понимаю. Я солдатская вдова, — говорит, — муж мой, — говорит, — за Ваше величество голову сложил, а сыночка моего единственного, — говорит, — евреи замучили.

Тут баба зарыдала, заголосила, затряслась от рыданий всем телом.

— А судейские, — прокричала сквозь плач, — все евреями куплены... Вот бумага. В ней все, как есть, писано...

— Не плачь, милая, — ласково промолвил в ответ государь.

Бумагу принял и через плечо передал в глубь кареты.

— Ну-ка, князь, — сказал громко, не поворачивая головы, чтобы каждое слово его было слышно толпе. — Разберись в этом деле порасторопнее. И чтобы по всей справедливости. Не печалься, милая, твой государь никого из подданных своих в обиду не даст.

Глава 3

— **И**так, Терентьева Марья, нищенка, живущая пода-
нием. В жалобе, поданной вами государю импера-
тору в собственные его величества руки при случае
проезда его величества через город Велиж, вы утверждаете, что
являетесь матерью убиенного два года тому назад младенца Фе-
дора...

Сухой монотонный голос следователя Страхова никак не вя-
жется с его вздернутым, окропленным мелкими веснушками но-
сиком и припухлыми, словно детскими, губами. Марья смотрит на
него без всякой боязни.

— Между тем, производившимся своевременно по делу сему
дознанием установлено, что убиенный младенец Федор был сы-
ном отставного солдата Емельяна Иванова и законной супруги его
Агафьи. Так как же? Продолжаете ли вы настаивать, что именно
вы, Марья Терентьева, а не Агафья Иванова, являетесь матерью
убиенного Федора?

— Никак нет, батюшка, не продолжаю, — Марья кокетливо
улыбается Страхову.

— Следовательно, вы признаете, что в бумаге своей написали
неправду!

— Признаю, батюшка, — соглашается со следователем Марья
и неожиданно прыскает.

Ей смешно оттого, что этого безбородого пухлогубого маль-
чика с жиденькими тщательно прилизанными волосиками она
называет батюшкой.

— А знаешь ли ты, коза блудливая, — голос Страхова срывает-
ся на фальцет, — что за ложные показания тебе будет битье
плетьюми да ссылка в каторжную работу?

— Господь с тобой, батюшка! — недоумевает Марья. — За что
же напасть такая?

— За ложные показания!

Следователь смотрит строго, однако мысль о том, что этот
цыпленок может причинить ей какой-либо вред, не умещается в
Марьиной голове. Она обиженно поджимает губы.

— Значит, опять должна я через евреев терпеть! Я ведь не какая-нибудь, я о себе уважение понимаю. А они младенца моего погубили, да меня же за блудное будто житье приговорили, а теперь еще ты, батюшка, Сибирью страшашь!

— Так ведь не твой младенец-то! И где доказательства, что именно евреи его убили? До-ка-за-тельства, спрашиваю, где? — Следователь приподымается и, всем телом своим перегибаясь через разделяющий их стол, как бы надвигается на Марию Терентьеву. — Ты и раньше на евреев показывала, а доказательств не привела. Теперь самого государя обеспокоила, а доказательств у тебя как не было, так и нет.

И Страхов неожиданно жесткими, словно клещи, пальцами ухватил Марию за щеку, стал медленно выворачивать ее защемленную кожу.

— Это тебе не шутки шутить! Тебе столько плетей за все твои враки отвесят, что и до каторги не доберешься. Так и помрешь под плетью. У нас разговор короткий.

Глава 4

Емельян Иванов ту думу имел, что с серебряной ложкой во рту на свет Божий явился. Выпало ему в молодости в рекрутчину угодить, и столько баталий прошел Емельян — на тысячу других хватило б! И на шведа ходил Емельян, и с туркой бился, и с Наполеоном-антихристом всю кампанию одолел. Под Смоленском чуть в плен не угодил Емельян, на Бородинском поле ему кивер пробило, а под Тарутином засыпало землей — едва откопали.

Нанюхался пороху Емельян Иванов! Чуть ни полмира на своих двоих отшагал, и смертушка костлявая с косою своею след в след за ним ходила. Ан, хоть бы царапнуло Емельяна разок... Ни-ни! Сохранила заступница христианская Богородица. Оттого и имел он думу про серебряную ложку во рту.

Честью и правдой отслужил свои 25 годков Емельян царю-батюшке да России-матушке. А как вышел срок — осел в городке Велиже, к Двине-реке притулившимся, — чистом, уютном, торговом, церквами да питейными заведениями уставленном.

Какое достояние у отставного солдата — про то всякий знает. Две руки, две ноги, голова на плечах да спина крепкая. Да у торговых людей всегда работенка найдется. Тому хлеба воз нагрузить, тому бочки с вином, аль семя льняное, аль красный товар к Двине-реке доставить да на воду спустить. А то и по Двине на лайдах до Витебска, Динабурга и до Риги самой сходить. Емельян — с превеликим удовольствием. Пока сила в руках-ногах есть, чего ее, силу-то, зря копить?

Хатенку поставил себе Емельян с краю города, на свободной земле, к бобылкам не спеша пригляделся, да и взял за себя Агафьюшку, бабу немолодую и бесприданную, зато трезвую, дородную да работающую.

Зажили хорошо, людям на зависть и удивление.

Про Велижград ведь что сообщает Православный Исследователь?

«Народ в городе больше добрый характером, да вместе крутой. Многие ведут жизнь довольно разгульную; нетрезвость ши-

рокие размеры имеет, а с нею и бедность; домашние ссоры да буйства доходят до обыкновенности. Родители-старики жалуются на побои детей, а жены — на жестокость мужьев». Так колошматят добрые велижане баб своих, что «преждевременные роды и скидывания — очень нередки».

Но не таков Емельян Иванов — отставной солдат! Чарку, конечно, примет, ежели поднесут; да и сам Емельян не скуп, рад угостить хорошего человека. Однако добреет от вина Емельян, целует всех, слезой умывается, про походы свои да баталии, как с супостатом бился, сказы ведет. А чтобы Агафью по пьяному делу обидеть — такого греха, упаси Господи, с ним никогда не случилось. Потому и наградил Господь Емельяна. Понесла Агафья его, и без всякого там скидывания родила младенчика точно в срок — крепенького да здоровенького.

Проснется Емельян среди ночи — рядом Агафья его посапывает, в люльке младенчик губочками почмокивает. Тихо-тихо подымет Емельян, выйдет в исподнем на крыльцо, засмолит по солдатской привычке сигарку; а кругом Божий мир смотрит стоглазием огоньков небесных, ласковым ветерком обвеивает Емельяна, дух терпкий смолистый с лесов сосновых ноздри щекочет, доски тесовые крыльца, что сам ладил, ступни босые Емельяну холодят — эх, мать честная, до чего же сладко жить-поживать на Божьем-то свете!

Особливо он, крохотуля этот, в люльке своей чмокающий, умиленной радостью заливает Емельянову душу. Не зря, выходит, небо коптил солдат да шалой пули стерегся. Наградил Господь — ничего не скажешь! Щедрей царя-батюшки наградил! Теперь бы вырастить мальчика, да и помереть не страшно. Будет кому помянуть, кому свечку за упокой души поставить. Одно слово: с серебряной ложкой во рту родился на свет Емельян Иванов!

А на пятом году жизни своей беспорочной, в день Святого воскресения Христова пропал неизвестно куда белокурый ясноглазый младенец Федор, солдатский сын.

Обшарили город Емельян с Агафьей, в лесу аукали, в деревнях окрестных расспрашивали. Соседи с ног сбились помогаючи, полиция по всей округе искала — не видал никто мальчика; словно в Двину канул...

Пьет Емельян горькую, Агафья убивается-воет, соседки сердобольно вздыхают, головами покачивают. Свят, свят, свят! Беда-то какая приключилась. Не приведи, Господи.

— Ладно убиваться, Агафья. Воды да воску неси, угадаю, так и быть, где твой ребеночек!

Засуетилась, забежала по избе Агафья, не знает, куда гостью нежданную в пестрой юбке цыганской да с опахалами вокруг глаз воловьих усадить да чем угостить, да как уговорить, чтоб не передумала она ворожить-то.

Налила Агафья чарку Марье Терентьевой, вторую налила — не передумала Марья. Долго смотрела, как воск в тазике плавает, затем глаза воловьих опахалами запахнула, руку вперед выставила да и сообщает утробным голосом замогильным.

— Вижу, вижу, Агафья, где сын твой болезный томится... Вот он, маленький... В погребке темном сидит... От холода дрожит весь, сердечный... Радуйся, Агафья — живой он покуда... А ночью, Агафья, кровь из него христианскую выпускать станут. И умертвят потом, чтоб не открылось злодейство. Беги, Агафья, спасай сваво ребеночка.

Обомлела Агафья, метнулась туда-сюда, платок на голову накинула.

— Куды, — кричит, — бежать-от? Где погреб тот окаянный?

— В доме еврейки Мирки, — отвечает ворожея. — Спеши, Агафья, а то не увидишь боле сваво мальчика.

Тотчас бросилась Агафья со двора... Вверх по Витебскому тракту, затем переулком на Школьную улицу выбежала, обогнула большую еврейскую синагогу, обернувшись на Свято-Духовный собор, крестным знамением себя осенила, да прямехонько к ратуше, что фасадом на Базарную площадь развернута. А через площадь, с краю — большой дом, добротный, каменный — с самой ратушей величавостью вида поспорить может. Он и есть тот самый дом, про который ворожея сказывала — старухи Мирки Аронсон да зятя ее Шмерки Берлина.

Рядом с домом ворота распахнуты, деловитая суета во дворе. Да тут всегда суета, потому как купец третьей гильдии Шмерка Берлин — первый на весь город богатей; дел всяких торговых почитай с половиной России ведет и даже с самой заграницей. Он и лес сплавляет, и возы с хлебом шлет в разные концы, и мелкие лавочки держит; вот и толпится во дворе всякий народ.

Агафья во двор не пошла, на крыльцо каменное взбежала, задержалась на миг дух перевести, да засмушалась вдруг. Как же это в чужой дом вломиться да ребеночка требовать!.. А ежели тут во-все и нет его?..

В ворота разные люди проходят, да из ворот выходят; на Агафью поглядывают с удивлением. А она все стоит на крыльце, с ноги на ногу переступает, сумлевется, и уж не помнит, сколько вре-

мени так стоит... Батюшки святы! Что же это люди подумать могут? У дверей баба мнется, а в дом нейдет. Не стянуть ли чего высматривает?.. Такого сраму с Агафьей отродясь не бывало.

Сбежала Агафья с крыльца, к дому своему воротилась. А ворожея еще тут, у дома. Повеселела от поднесенного Агафьей вина, бабы ее обступили, и она им про злодеяния еврейские и ворожбу расписывает.

— Ну что, не отдают жида ребеночка? — бросились бабы к Агафье.

— Она наплетет, — машет рукой Агафья, — а мне к людям на позор итить.

И повернувшись к Марье Терентьевой:

— Не верю я твоей ворожбе!

— А не веришь, так и не верь, — обижается Марья. — Мой что ли мальчик?.. Мне не веришь, так в Сосньюры сходи, к девке блаженной Нюрке Еремеевой. Про нее все знают, как гораздо она ворожить да все верно угадывать.

Агафья опять отмахнулась, да бабы подступились все к ней: сходи да сходи, ноги небось не отсохнут; блаженные-то, они вон как гораздо угадывать!

Ну, пошла Агафья в Сосньюры. Только Нюрка, блаженная девка, и ворожить ей не стала.

— Ты ж, — говорит, — была седни в том доме, где сын твой слабый томится. Коли в силах взять его отсюда, то приложи старание, а не можешь, так ночью стереги: он будет жизнь кончать. Хоть увидишь его в последний разочек.

И нахально на Агафью глядит, и лицо ее широкое, скуластое, плоское, и две тощие рыжие косицы крысиными хвостиками болтаются.

Воротясь в город, Агафья снова пошла на Базарную площадь, но войти в дом еврейки Мирки да потребовать ребеночка опять не решилась...

Глава 5

Младенчика Федора нашли в ранний утренний час славного майского дня, на десятый день поисков. Лежал он всего в трех верстах от города, вблизи дороги, и хорошо виден был в прозрачном лесу, среди голых еще, едва начавших одеваться нежной листвою деревьев. И накануне, и третьего дня искали его в этих же местах, да не было его здесь. Только минувшей ночью, может, под самое утро, вывезен был его трупик, о чем говорил и свежий след брички, четко отпечатавшийся на влажном грунте дороги. Видно было, что бричка стояла какое-то время здесь, потом развернулась и укатила обратно в город.

Доставленный к месту происшествия доктор Левен тельце мальчика осмотрел и насчитал четырнадцать колотых ран, нанесенных чем-то вроде гвоздя с отломанным острием. Еще заметил лекарь, что губы у трупа притиснуты к зубам, а нос прижат к губам, и имеется кровоподтек на затылке, а также несколько ссадин в разных местах — след короткой неравной борьбы... Лекарь записал в протоколе, что мальчик принял мученическую смерть.

А привезенный для опознания трупа, опухший от водки, но трезвый, не успевший еще с утра опохмелиться, отставной солдат Емельян Иванов в покойном ребенке точно признал своего пропавшего сына. На вопрос полицейского чина, кем загублен ребенок, Емельян ответил, что про то не знает и подозрений ни на кого не имеет. Окромья, конечно, евреев.

— Почему же именно евреев? — деловито спросил полицейский чин.

— А как же? — изумился Емельян. — Ить у них вера такая. Им на паску надобна кровь христианская. Это ж всему свету ведомо.

И как бы ища поддержки, солдат обернулся к кучке зевак, успевших, несмотря на ранний час, сбежаться к мертвому телу.

— Знамо дело, евреи. Кому еще убивать, — загудели в толпе.

— Про то и святые отцы сказывали...

— В Ленчицах-то — слыхивали? — кто-то гнусаво спросил из задних рядов, и вперед выдавился, комкая в руках шапку, тщедушный мужичок с всклокоченной бородачкой, приплюснутым, словно

сломанным носом, по виду мастеровой. — Как же! Да. Там на церкви одной — папистской, правда, не нашенской, — даже картина вывешена: как, значит, евреи кровушку из младенца источают. Да. Цельный бунт из-за картины той вышел — всего, почитай, два месяца тому. Евреи, вишь, сильное недовольство к той картине имели, что, значит, она народ супротив них возмущает. Сунули там, сказывают, кому-то — они ить завсегда при деньгах, евреи. Да. Ну, начальство, знамо дело, послало людей картину сымать. Только тут один смелый человек случился. Как ударит в набат! Да. Народ сбежался, а он и кричит народу: «За веру нашу христианскую! Не позволим картину для ради жидов сымать!» Хоть и папист, а постоял, вишь, за веру Христову. Да. Разбушевался народ, так и не отдал картину. Человека того заарестовали, мобуть, в Сибирь сошлют, потому ежели всякий папист смуту учинять станет... Да. А картина висит. Да...

— Вот видишь, ваше благородие, — как бы обрадовался даже, несмотря на великое горе свое, Емельян Иванов. — Ты послухай, ваше благородие, что Филипп Азадкевич говорит. Ты не гляди, что сапожник: он грамоте разумеет и про жидовские злодейства много показывает.

— Так то в Ленчицах, — вяло возразил чин, — а это у нас, в Велиже. Ты, солдат, про сына своего говори. Откуда у тебя подозрение на евреев?

— Так Агафье же, бабе моей, ворожея сказывала!

— Какая такая ворожея?

...Записал все чин чином чин, младенца непорочного Федора предать земле дозволил, а в участок к себе Марью Терентьеву приказал привести. Из-под земли достать, а доставить.

— Ну-ка, сказывай, Марья, откуда тебе ведомо, что мальчика того порешили евреи? — потребовал чин от Марьи Терентьевой, как только предстала она перед ним. — И не вздумай про ворожбу мне врать, потому как ворожбу закон запрещает! И хоть ты, Марья, законам не обучена, однако не будет тебе снисхождения, потому как ты первая в городе бездомница и блудодейка и в поведении тебя никто не одобрит; пойдешь ты, Марья, за ворожбу свою в Сибирь морозную, в самую каторжную работу.

Видит Марья — дело совсем не шутейное. Захлопала ресницами, на лавке заерзала. Ворожба ворожбой, объясняет, а только видела она своими собственными глазами воловьими, как еврейка Ханна Цетлин, аккурат в день Святого воскресения Христова, когда сын то есть солдатский пропал, подошла на мосту к мальчику, по головке его беленькой погладила, о чем-то поговорила с ним да в дом свой еврейский увела.

— И не врешь ты все это? — чин уж другим тоном спрашивает.
— Вот крест святой! — ободрившись, побожилась Марья.
— И можешь признать ту еврейку?
— Как не признать! — отвечает Марья. — Ханна еврейка та. Ее лавочка на Базарной площади через два дома от богатейки Мирки стоит!

Мигом чин за Ханной Цетлин шлет, лицом к лицу с Марьей ставит.

— Знаешь, — спрашивает, — эту бабу?
— Первый раз вижу, — отвечает Ханна Цетлин.
— А ты? Встречала когда-нибудь эту еврейку? — спрашивает чин Марью.

— Она, она! — Марья опахалами своими мотнула. — Она самая. Мальчика на мосту взяла да в дом свой увела.

— Какого мальчика, на каком мосту, когда это было? — будто не понимает Ханна.

— Сама знаешь, когда! Аккурат в день воскресения Христова, когда солдатский сын пропал! — парирует Марья.

— Какой солдатский сын? — спрашивает Ханна.

— Нешто не знаешь! Весь город об том только и говорит, а она не знает!

— Про что ты говоришь, я не знаю, — Ханна ей отвечает. — Тебя никогда не встречала и про мальчика не слыхала. В первый день христианской пасхи, — обратилась Ханна к чину, — я и из дому не выходила. Сын у меня болел, горел весь, метался в бреду. Я Бога молила, чтоб меня к себе взял, а его жить оставил. Не внял моим молитвам Господь, вчера только мой мальчик помер. — Голос у Ханны задрожал, она помолчала, потом, преодолевая себя, продолжила. — А пока дышал еще, я все надеялась и ни на шаг не отходила от него. Чтоб мне так жить.

— Клятвы нам твои еврейские ни к чему, — заметно смутившись, но все же с приличествующей строгостью возразил чин, — а вот свидетель, что не выходила ты в тот день из дому, у тебя есть?

— Как же нет! — вскрикивает Ханна и называет аж четырех свидетелей.

Чин мешкать не стал — всех четверых приказал доставить. И отпустил их вместе с Ханной Цетлин.

«Не приведи Господи связываться с евреями, — злился после того чин. — То ли дело наш брат, христианин. Соседа, допустим, прирежет или жену прибьет по пьяному делу... Так проспится и сам же придет с повинной. А эти — от всего отопрутся да голову заморочат».

— Ты что же мне сказки рассказываешь! — напустился чин на Марью Терентьеву. — Ежели Ханна эта в свой дом ребеночка увела, почему же умертвили его, по слову твоему, у старухи Мирки, то есть у Берлиных? Ну-ка, выкладывай все, что знаешь!

Заездила опять Марья, забились, запорхали опахала, словно пойманные две бабочки.

— Так это ж потом, — говорит, — ночью его к Мирке перенесли.

— Ты это тоже своими глазами видела? — грозно вопрошает чин.

— Нет, — лепечет Марья, — сама я того не видела, да про то Нюрка Еремеева рассказывала.

— Какая еще Нюрка?

Доставили чину Нюрку Еремееву, блаженную девку — рыжую, скуластую, веснушками, словно крупным зерном, усыпанную, еще совсем малолетнюю.

— Чья ты, Нюрка, где живешь, чем кормишься? — ласково чин ее спрашивает.

— Я ничья, — Нюрка отвечает, — живу, где люди добрые приютят, а кормлюсь подаванием ради Христа.

— Значит, ты, Нюрка, девка бездомная и живешь подаванием?

— Молюсь, вот Христос и не оставляет меня.

— И многое, говорят, угадываешь?

— Когда люди просят — угадываю.

— А вот говорят про тебя, Нюрка, будто ты еще за месяц до того, как солдатский сын пропал, говорила, что замучают его евреи. Верно ли это? Говорила ты так?

— Рассказывала, — кивает Нюрка. — Дюже насмехались все надо мной, ан по слову моему и вышло!

— Откуда же тебе это известно было?

— А мне старичок явился да про то поведал.

— Какой такой старичок? — насторожился чин.

— Известно, какой! Архистратиг Михаил...

— Ты мне дело говори! — сдвинул брови полицейский чин. Сказки ты другим расскажешь!

— Я и говорю, — обидчиво ответствовала Нюрка. — В ночь на Благовещение то случилось. То ли спала я крепко, то ли в беспмятстве была, то ли еще в каком представлении, только вижу вдруг, — тут Нюрка вверх глаза подняла да под веки закатила; смотрит чин, а она одними белками на него сверкает.

У него аж помутилось внутри, и голос Нюркин как бы удалился куда-то, словно бы с высоты огромной стал доноситься:

— Вижу я — старик в священнической епитрахили подводит ко мне архистратига Михаила в стихаре, и вот взял меня за руку архистратиг и повел по разным местам, и все про будущее тех мест мне сказывал. А под утро уж увидела я младенца, и рядом цветы, и из цветов шипит на него змея. «Ой! — кричу я, — вскрикнула Нюрка, — что это значит?» — И опять с высоты, таинственно. — А Михаил отвечает мне: «Назначен младенец сей быть страдальцем Господним в городе Велиже. Знай, Нюрка, что на пасху Христову замучают евреи его христианскую душу».

Сказав все сие, Нюрка замолкла, глаза ее на место свое воротились и нахально на чина уставились.

— Гм! — озадачился чин. — Ну, а как ты узнала, что это случится в доме Шмерки Берлина и старухи Мирки?

— Так в ночь на Светлое Христово воскресенье опять ко мне старичок явился! — теперь уж горячим шепотом заговорила Нюрка. — Вывел меня за ворота и показывает на Велиж, а над ним, будто от пожара, разливается пламя. Показал мне все это старец и говорит: «В первый день пасхи пропадет в городе Велиже тот христианский мальчик, которого видела ты, что на него шипела змея. Он будет страдать в иудейском, что против зарева на рынке, большом каменном доме. Когда придет к тебе мать того мальчика, то слышанное от меня скажи ей».

— И это все, что ты можешь сказать? — спрашивает озадаченный чин.

— Если б знала еще чего, то сказала бы.

Отпустил чин Нюрку, блаженную девку, отпустил Марью Терентьеву, да заскреб свой чинный затылок. Вот евреи, всегда с ними так! Одна ворожба, выходит, против них да молва людская. Как тут прикажешь дознание чинить, когда закон ворожбу в расчет принимать не велит? Это, конечно, ежели с одной стороны посмотреть.

А ежели с другой стороны, по совести ежели рассудить, то кому ж убивать дитяню христианскую, как не евреям. Опять же и ворожба! Закон-то, конечно, закон, а тоже не отмахнешься. Взять хоть тот случай, когда цыганка самому чину гадала. Будет, говорит тебе радость в казенном доме. И точно: вышло повышение в чине.

Как ни крути, а Мирку эту и всех Берлиных надобно допросить. Не положено по закону, однако же, если по совести, то ничего, не убудет с них. С другой же ежели стороны посмотреть, то ка-

кой толк допрашивать-то? Они ж, ясное дело, отопрут, только спугнешь их. Следы, допустим, в подвале какие остались, так они их мигом сотрут-замоют.

Нет, лучше уж прямо нагрянуть с обыском! Оно по закону-то не положено, ан, вдруг обнаружится что? Тут все дело сразу откроется, и новое повышение от начальства выйдет!

Нагрянул чин с подчинными своими в большой каменный дом, что с краю на Базарной площади.

Все погреба обшарили, чердаки облазили, сараи да конюшню обстучали, огород перекопали. И — ничего подозрительного! Вот как умеют маскироваться жида!

Конечно, допрос учинил всем Берлиным чин. И Мирку-старуху допросил, и зятя ее Шмерку, главного в доме хозяина, и жену Шмерки Славку, и сына их Гиршу, и жену сына Шифру, и малых детей Шифриных. Все в один голос твердят: не ведаем про солдатского сына!

Чин и так, и эдак подъезжает. Посторонние вопросы подсовывает, чтоб, значит, с толку сбить и обнаружить вранье... Как же, собьешь их с толку! Все согласно друг с другом отвечают — вот сговорились как!

Одна надежда у чина — бричка. Потому как на допросе открылось, что у Берлиных недавно гостил родственник с сыном из дальнего местечка, Гликман Иосель. На бричке приехали они, на бричке и уехали. А ну как, покидая город, они двое и вывезли в лес мертвое тело?..

Тут, правда, неувязочка имеется. Следы ведь говорят, что бричка та в город воротилась, Гликманы же не воротились — в местечко свое поехали. Но все одно: приказал чин того Гликмана найти, в участок доставить, бричку его разыскать, да как следует всю обмерить: совпадают ли размеры ее с той, что следы оставила?

А тут уж слух про обыск из дома в дом ползет, из двора во двор пробирается. Филипп Азадкевич, сапожник велижский, по улицам разгуливает, шапку в руках мнет, про картину в Ленчицах гнусаво рассказывает. Вот они какие, жида! Да. Младенцев христианских режут и на бричках своих в лес вывозят. Начальство — оно тоже с понятием. Не станет начальство зря обыски делать да брички еврейские обмерять.

Злится, слушая те речи, народ христианский, а евреи тоже вовсю возмущаются. Самый горячий, конечно, Хаим Хрипун. Он Тору-Талмуд изучил да всякие толкования. Он мудрость всю еврейскую превзошел. Что же это, говорит Хаим, на свете Господнем

происходит! Жив, говорит Хаим, Бог Израилев, или не жив? Наш Бог, говорит, есть Бог единый. За что такая напасть и бесчестье? Такого же, говорит, с самого сотворения мира никто не видывал. Сколько, говорит, бричек в городе Велиже? На каждой могли тело вывезти. Нет такого закона, чтобы еврейские брички обмерять, а христианские не обмерять! Вот к землемеру Котову тоже гость на бричке прикатил да живет у него до сего дня. Ему сподручнее мертвое тело вывезти да назад воротиться. Мы тоже пойдем ту бричку обмерим!

И пошли по улице, повалили гурьбой. Ну, во двор только двое вошли — Хаим Хрипун да Нота Прудков. Остальные на улице стоят. А мальчишки, мальчишки еврейские, любопытные пучеглазки, весь забор облепили, смотрят, как ту бричку измерять будут.

Как же, измеришь!

Вышли из дому землемер Котов да гость его ксендз Серафимович, да как шуганут тех измерщиков. Хаим Хрипун было спорить стал, да ксендз Серафимович за оглоблю схватился — такой вот получился спор. Перепуганный Нота едва успел вытащить Хаима со двора за полу длинного его еврейского кафтана.

Землемер Котов не успокоился тем: бумагу подал властям, чтобы расследовали, с каким таким умыслом великая толпа жидов напала на его дом. Возжелал землемер Котов чувствительной обиде своей потребовать удовлетворения! А пуще Котова возжелал того ксендз Серафимович, гость его, полагавший жидовский обмер, бричке его учиненный, крайне обидным не только для себя, но и для всего христианского духовенства.

Чесали полицейские чины чинные свои затылки, кивали головами. Оно так... Оно всякому ясно... Ежели по закону, то никакого ущерба еврею обмером своим ни Котову, ни ксендзу, гостю его, не причинили. Ну, а ежели без закона, по совести ежели рассудить, то ксендз этот хоть и не православный священник, а всего-то папист недоделанный, однако же — не чета жидовью. Христианская бричка — это вам не еврейская!.. А потому пусть жида раскошелятся, пусть возместят за обиду землемеру Котову и ксендзу, гостю его, по двухмесячному жалованию. У жидов-то все одно денег много. А Хаим Хрипун и Нота Прудков в остроге пусть посидят деньков по пятнадцать за мелкое хулиганство, чтоб неповадно им было брички христианские обмерять и такими еврейскими предприимчивостями ход всего дела затмевать, а тем и отводить падаемое на них, евреев то есть, подозрение в убийстве солдатского сына.

Гликмана Иоселя с бричкой его отыскали, в Велиж доставили, допросили строго. Все точно показали о нем Берлины! Жил у них несколько дней, это так, и в бричке своей уехал еще за день до того, как мертвое тело в лесу обнаружили. А потому про тело то от чинов полицейских впервые слышит. Какого числа выехал — помнит точно. Где был на следующий день — тоже. Где ночевал, где обедал — всюду много людей его видело. Каждого можно опросить — подтвердят.

Опросили чины — не поленились. Все подтвердилось по слову Иоселя... А главное — бричка совсем иной по размерам-то оказалась. Вот евреи, а! Умеют предприимчивостями своими замечать следы!

Полгода дознание шло, полгода велись допросы, скрипели перья полицейские, бумага на бумагу ложилась, росло, пухло дело следственное. Да ведь сколько веревочке ни виться, все одно конец должен быть. И потому перешло дело на рассмотрение в городской велижский магистрат.

Глава 6

Среди ратманов, в городском магистрате заседающих, двое евреев! Можете мне не верить, но так повелось во всех землях, от Польши к России-матушке отошедших да густо евреями заселенных. Порядок такой установлен государыней Екатериной Великой. Коли евреи в городе есть, пусть и представители их в магистратах будут! Немного, конечно, никак не больше трети. Дашь им волю, так они всю местную власть к рукам приберут, пользуясь добродушеством христианским. Потому — пусть весь городок какой-нибудь заваливающий одними евреями населен — не больше трети должно быть их в магистрате!

Ну, в Велиже евреев строго держат. Всего-то двое их в магистрате — из двенадцати. Но эти двое во всех разбирательствах, до евреев касающихся, участие должны иметь. Таков закон, государыней Екатериной Алексеевной высочайше объявленный, да государем Павлом Петровичем, сыном ее, и государем Александром Павловичем, сыном Павла Петровича, подтвержденный.

Стало быть, и судить евреев, к делу об убийстве солдатского сына привлеченных, без еврейских ратманов никак невозможно. И что из того, что один из них — муж обвиняемой Ханны Цетлин. У каждого ратмана ведь товарищ имеется, готовый заменить его на случай отлучки или болезни или ежели по другой какой причине ратман принимать участия в деле не может. Евзику Цетлину закон не дозволяет судить собственную жену, но товарищем из евреев же заменить его можно!

Так ведь то — по закону!

А ежели попросту, по совести христианской ежели рассудить? Ведь евреи, хоть двое их всего из двенадцати, они ж кого хочешь заморочить могут. Дело-то вон какое запутанное. А ну, как они еще сильнее запутывать станут? А то и распутают с еврейской своей обстоятельностью. Так распутают, что не обрадуешься. Ту же девку блаженную Нюрку Еремееву, к примеру, возьмут в крутой оборот. Что это, мол, за архистратиг такой в стихаре, который за месяц вперед убийства планирует? Не рядом ли с ним и убийцу надобно поискать? Застрашают девку блаженную, пользуясь ее ма-

лолетством, да и откроется правда, только другая совсем — что младенец Федор погиб вовсе не от еврейской, а от цыганской, к примеру, или, упаси Господи, от христианской руки...

Нет, закон законом, а лучше пейсатых к делу сему много-сложному вовсе не допускать!..

И опять скрипят перья цельных полгода, опять вызывают Цетлиных да Берлиных, да Йоселя Гликмана из дальнего местечка, да Хаима Хрипуна — зачем бричку мерил, и Терентьеву Марью, и Емельяна с Агафьей, породивших младенчика того убиенного. Допросы, передопросы, очные ставки... Растет, пухнет кипа бумаг, в папки бумаги подшиваются, папки нумеруются, на полки ставятся... Чешут в чинных затылках христоролюбивые судьи, платками красные шеи утирают... Умеют, умеют евреи замечать следы...

Долго потеют ратманы над приговором своим.

Пыхтят над бумагами, высунув кончики языков от усердия, ссорятся меж собой, и Бога, и черта поминают. Получается то, что и наказывать вроде не за что, и оправдать невозможно. Никак невозможно оправдать, потому как убивали жиды младенчика или нет, а в Бога христианского они все одно не веруют, и разорение христианское от них одних происходит.

Велиж-то, разъясняет Православный Исследователь, — город торговый. Люди достаточные здесь только те из купцов и мещан, кто сам трудился над своими приобретениями. Сынки же и внуки купеческие, получившие по наследству, то есть без личных трудов, отцовские да дедовские капиталы, — эти время свое в разных маевках да вечеринках проводят. Кто потщеславнее, усиливается с рылом своим неумытым в образованное общество войтить, а кто попроще, без притязаний особых, тот в зимние праздничные вечера на покрытую льдом Двину выходит, чтобы сойтись с таким же молодцем в кулачном бою. Сами судите — до торговли ли тут?

А евреи — о! — они время зря не теряют! Особливо еврейки. Сидят в лавчонках своих, что наседки на яйцах, да каждой копейке счет ведут!

Скажете: на то, мол, торговля, чтоб деньгам счет вести. Так я вам на это отвечу, что так-то оно так, да не совсем так! Тут с разбором подходить надобно. Ежели, к примеру, христианин православный торгует умело и со старанием, то усердие его надобно полагать очень даже похвальным. А евреи — у-у-у! Они ж не просто так, ради прокорма семей своих, всякими предприимчиво-

стями промышляют, но с той непременно целью, чтобы христианство с великой своей жидовской злостью разорять! Так что тут различать надобно.

По совести-то, тряхнуть бы их теперь хорошенько. Да вот беда — приговор надобно в Витебск отправить, губернские чины смотреть дело будут — все ли в нем по закону. Чуть что не так запишешь, и неприятностей не оберешься. Ведь как ни крути, а нет ничего против старухи Мирки и прочих всех Берлиных. Хоть ты тресни, а против них одна ворожба! А ежели нет ничего против тех, в чьем доме мальчонку убили, то и все обвинение само собой отпадает. Всего-то остается Ханна Цетлин: все же в день Христова воскресения видела ее на мосту Марья Терентьева!

Правда, сама Ханна сей факт упорно отрицает и выставляет свидетелей. Да ведь свидетели ее все евреи! Нет, не отвертеться еврейке Ханне. В Сибирь, конечно, не сошлешь за то, что, может быть, она была на мосту, но и вовсе чистенькой — как можно выпустить! Запишем-ка, что остается Ханна в сильном подозрении. А заодно и милосердие свое христианское покажем:

«Дабы, сверх чаяния, не отяготить безвинно судьбы ее неумеренным приговором к наказанию, и как в поведении она весьма одобрена, то и отдать ее одобрявшим на поруки».

И Иоселя Гликмана в подозрении оставим. Чтоб неповадно было всякому еврею на бричке раскатывать! А главное — закрепим в приговоре, что христианам к убийству того мальчика никаких поводов не было, ибо он даже денег при себе не имел, и потому полагать следует, что учинено оное убийство евреями, только кем именно — не отыскано. Потому — предать смерть младенца воле Божией, умертвление же оставить в подозрении на евреев.

Вот как мудро рассудил велижский магистрат! Под статью еврейскому царю Соломону мудрость сия. Все прощены, никто не наказан, и пятно кровавое положено на целый народ.

Месяц проходит, другой проходит, третий проходит... Колесный путь давно санным сменился, снег успел потемнеть, вздулась Двина, скоро уж дороги непроезжими станут. Отставной солдат Емельян Иванов, гонимый неизбывным горем своим, продал дом, что сам срубил, да в коем не обрел счастья; на вырученные деньги лошадь купил, нехитрый свой скарб уложил в сани, сверху Агафью свою посадил — больше его в Велиже и не видывали. А в Витебске все слюнявят пальцы губернские чины, листают дело пухлое, покачивают головами. Видят: очень старался велижский магистрат

по закону дело об убиенном младенце Федоре оформить, но не вышло по закону-то. Оно по совести ежели рассудить, то так и надобно с евреями. Утвердить бы дело, и с плеч долой, тем более — никто по нему не наказан...

Утвердили б чины, да помнят хорошенько про похожий случай, что в Гродненской губернии произошел годков всего пять-шесть тому. Ох, и осерчал тогда Государь российский милостивый! Самому губернатору высочайшее замечание сделать изволил. И бумагу по всем прочим губерниям велел разослать. Ее, бумагу ту, вдоль и поперек чины изучали, на свет просматривали, так и эдак вертели, диву даваясь да изумляясь в душе непонятной заботе государевой в отношении поганых нехристей. Да ведь Россия-мать страна самодержавная, в ней высочайшую волю обсуждать не положено — надобно исполнять. А в бумаге той прямо объявлено, чтобы евреев впредь, по одному предрассудку, будто они для религиозных целей имеют нужду в христианской крови, не обвинять. Так и сказано в той бумаге: «Если где случится смертоубийство и подозрение падет на евреев, однако без предубеждения, что они сделали сие для получения христианской крови, то следствие против них следует проводить по закону, наряду с людьми прочих исповеданий, и обвинение выносить на основании судебных улик, а не предрассудков и предубеждений».

Как же после сего приговор велижского магистрата, весь именно на предрассудках и предубеждениях основанный, прикажете утвердить! Повздыхали чины, покрякали, да постановили: решение велижского магистрата отменить, евреев от всякого подозрения освободить, а Марью Терентьеву, нищенку бездомную, за ворожбу ее и блудное житье, предать церковному покаянию.

Вздохнули с облегчением евреи! Радуются, веселятся, над книгами качаются, Бога благодарят. Не отдал на поругание Господь избранный свой народ!

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, укрепляющий усталого! Да будет воля Твоя, Господи, Боже наш и Боже предков наших, привлекать нас к учению Твоему и заповедям Твоим, чтобы не впасть нам в грехи, преступления и пороки. Не вводи нас во искушение и позор; не дай овладеть нами дурным страстям; удаляй нас от злых людей и дурного общества; привяжи нас к добрым наклонностям и благим делам; понуди чувства наши покориться Тебе; даруй нам сегодня и всякий день благосклонность, милость и милосердие в глазах Твоих и в глазах ближних

наших, и твори нам благие милости Твои. Благословен Ты, Господи, творящий благие милости народу Твоему. Да будет воля Твоя, Господи, Боже наш и Боже предков наших, избавлять нас ныне и всегда от дерзких лиц и от дерзости, от лихого человека, лихого товарища, лихого соседа, несчастного случая, от пагубного искушителя, от сурового суда и непримиримого противника, будь он сын Завета, или нет.

Ох, рано вам, рано еще, евреи, торжествовать!

Не избавил еще Господь вас от сурового суда и непримиримого противника. Не избавил еще вас Господь от лихого человека...

Глава 7

Со страхом и изумлением смотрит Марья Терентьева на следователя Страхова. Носик его курносенький вздернут, словно у мальчика; губы припухлые, как у ребеночка; а глазки маленькие, зеленые, колючие, волчьей злобой светятся. Нет, не такой он вовсе птенец, каким показался ей спервоначалу. Да и не так сильно молод, как выглядит, и пальцы жесткие у него, словно клещи; на щеке-то Марьиной аж синяк проступил.

Затравленно смотрит Марья на следователя, сжалась вся, губы подрагивают.

— Это все по глупости я, — говорит Марья заискивающе, — по одной бабьей глупости; уж ты прости меня, батюшка. Сапожник Азадкевич да учитель Петрища подговорили меня. Поддай, говорят, Марья бумагу государю, он живо разберет. Евреев, говорят, в острог посадит, а тебя наградит. Сами же бумагу ту написали. А я грамоте не обучена, вовсе писать не умею. Вот крест святой, батюшка.

Однако пуще прежнего рассердили те слова следователя Страхова. И то сказать — положеньице! Его ведь еврейские злодеяния прислали расследовать, а не то, как почтенные христиане напраслину на евреев возводят.

— Вот что, Марья, — посуровел словно туча следователь Страхов. — Кто там за тебя бумагу писал, мне знать неинтересно. Даже и в протокол про то записывать не станем, потому что ответ держать все одно тебе. Ты мне лучше вот что скажи. Почему это ты так уверенно на евреев показываешь? Не сама ли ты с ними младенца сгубила?

— Свят-свят — пугается Марья. — Экие страсти ты говоришь! Разве ж такое можно?

— Но ты на евреев показываешь? А как ты можешь знать, если сама в деле том не участвовала?

— Да и не знаю я ничего! — вскрикивает Марья. — Вот крест святой, не ведаю!

— Я и говорю: показываешь ты ложно. Не добаться тебе до Сибири — под плетью, как последняя шелудивая сука, подохнешь!

Помолчал следователь Страхов, дал время Марье смысл слов его грозных уразуметь, да потом как бы жалко стало ему неразумную бабу, и продолжил он подобревшим голосом:

— Подумай, Марья, не торопись. Государь наш милостив. Он ведь почти как Христос. Самый тяжкий грех простит, если признаешься, да покаешься, да на сообщников своих жидовских покажешь. Стало быть, выбирай. Признаешься, что в злодействе помогала евреям — выхлопочу тебе прощение от государя. Запираться станешь, значит, ложно ты показывала, да еще себя ложно матерью младенца того нарекла. За это — плети да сибирская каторга. Подумай. А покуда в остроге посиди; в остроге, знаешь ли, хорошо думается!

Уводит Терентьеву Марью конвой, следователь Страхов голову руками стискивает.

Здорово он нахальную бабу пугнул! А то вздумала с ним, как с мальчишкой, играть! Ничего, в остроге живо образумится. Конечно, по закону ежели, так надо было показания ее про учителя Петрищу да сапожника Азадкевича в протокол записать да все хорошенько про них выспросить. Так ведь сапожник Азадкевич да учитель Петрища как раз Страхову-то первые помощники!

Неприятный тип — сапожник Азадкевич, в приплюснутый нос громко гнусавящий. Погиб ребеночек, у людей горе, а он радуется почти открыто, да про еврейские злодейства повсюду рассказывает. Видать, сильно насолили ему евреи, да и догадаться нетрудно — чем.

Уж на что сам Страхов евреев не любит, а у кого сапоги шьет, или мундир, или шапку? То-то и оно! Витебск возьмите — город губернский, не чета Велижу. Так вся губернская знать евреями обуается да одевается. Такие они каналы — евреи. Если возьмутся за что, так то и делают. Хоть бы когда-нибудь один со сроком подвел или еще с чем! Ни-ни. Вот вся работа им и достается. А коренные российские ремесленники часто без дела сидят, горькую пьют, разоряются да на евреев лютуют.

Про Филиппа Азадкевича все говорят: мастер отменный. Ежели азарт его возьмет, так такую пару сапог сварганит, что жидам и во сне не приснится. А дамские башмаки — одно загляденье! Хоть в Витебске в них танцуй, хоть в Петербурге, хоть в самом Париже. Одна беда: шибко любит Филипп гульнуть. Оттого в долгах сидит и деньги за работу всегда наперед требует. Оно, почему бы и

не заплатить вперед, ежели сапоги позарез надобны? Да ведь в том вся загвоздка! Заплатишь ему, а потом целый год ходи, вытребывай свой заказ. Завтра да завтра — один ответ. Вот заказчик и обходит Филиппа стороной, несет свои гроши еврею. А Филипп по шинкам да трактирам слоняется, буйнит да евреев почем свет поносит.

— Нет, — кричит, — такого закона, чтобы заказчиков сманивать! Я тоже, — кричит, — могу все в срок выполнять и денег вперед не требовать! Я, — кричит, — блоху могу обуть и даже царицу. Хошь, я те вовсе задаром сапоги сошью, да еще сам тебя в шинке угощу, ежели хороший человек, потому как я не жид какой, что за копейку удавится. Ты только не побрезгуй, посиди со мной да растолкуй, по какому такому закону евреи все дела мастеровые к рукам своим приграбастывают!

Ну и радость Филиппу с этим младенчиком убиенным! За все свои обиды надеется он с евреями расквитаться.

Часто говорит с ним Страхов, много полезного для дела своего узнает, только и его оторопь берет, когда мстительным огнем разгораются нездоровые желтые глаза Азадкевича и раздуваются крылья приплюснутого носа. Не позавидуешь еврею, ежели повстречается ему Азадкевич в темном переулке.

Но вот учитель Петрища — совсем другой человек! Движения у него ровные, спокойные, говорит он неторопко, аккуратно, мягко. Нежной, почти девичьей рукой, с маленькими, как у ребеночка, ноготками, все бороду свою густую оглаживает и евреям как бы даже сочувствует.

— Что, — говорит, — мне с ними делить? У меня голый *принсип!*

А ведь про то, что это они двое научили Марью бумагу государю подать, они Страхову не сказывали... Что же, однако, получается! Взяли бабу бездомную да голодную, накормили, вином напоили, наобещали черт знает что, ложную бумагу на Высочайшее имя составили да еще матерью убиенного младенца уговорили себя назвать, чтобы бумаге той надлежащий был дан ход... Без умысла таких вещей не делают... А что ежели привлечь обоих к ответу? Оно так ведь и надобно поступить по закону... Только вот куда все это поведет?

Князь Хованский-то не зря Страхова из всех губернских чинов отличил да в этот треклятый Велиж направил.

— Поезжай, — говорит, — голубчик, как на сына, на тебя надеюсь! Знаешь, где у меня эти евреи сидят? — и ребром ладони по крепкой оливковой шее генеральской постучал. — Куда, — гово-

рит, — ни плюнь, всюду евреи. И никак не ухватишь их; скользкие, как лягушки. Иной раз кажется — уж ухватил, да они выскальзывают.

Князь размашисто прошелся по кабинету.

— Нелегкое дело в Велиже — знаю. Потому и посылаю тебя. От сердца, можно сказать, отрываю. Привыкли мы к тебе, как к сыну родному; княгиня скучать будет без тебя, а о княжне уж не говорю, как бы не заболела с горя. Но — надо, голубчик, надо! Дело самому государю известно. А я позабочусь во всеподданнейших докладах моих, чтобы не забывал о нем государь, и тебя при всяком случае упоминать буду. Ты только докопайся мне, сумей ухватить этих скользких жидов, а о наградах твоих и карьере твоей предоставь мне заботу! Чай не чужие мы с тобой. Да, да, не делай удивленных глаз. Знаю, что не богат ты и не особенно знатен — не чета роду Хованских, — да ведь я же без предрассудков. Род свой древний ценю и горжусь им, да понимаю, что умная голова и богатства и родовитости стоит. Веру я в тебя, голубчик, имею! Воротишься из Велижа *с победой* — и прямая дорога тебе в Петербург. Бери тогда княжну, я поперек не стану. Надеюсь, ты понимаешь меня. Это тебе последнее мое слово — и отцовское, и губернаторское!

Вот как проводил Страхова генерал-губернатор Витебский, Смоленский да Могилевский, генерал от инфантерии, князь Хованский!

А ведь он государем самим над тремя губерниями поставлен, и нет никого главнее во всех трех губерниях! Любого, ну просто всякого в губерниях этих он может на розовенький свой ноготок уложить, другим ноготком прижать и кишочки все выпустить. А онто — кишочек не выпускает! Он доверие великое оказывать изволит, о наградах печется да дочку свою, княжну, замуж отдать обещает. Вот он какой, ненаглядный владыка, князь-свет Хованский!

И такого ангела подвести! Такому начальнику не услужить! Да что же он, Страхов, нехрист что ли какой неблагодарный? Нет, следовательно Страхов свой долг исполнит! От следователя Страхова жидкам не ускользнуть. По закону или не совсем по закону, а Страхов докопается до жидков, кровушку христианскую из младенцев источающих.

Правильно поступили Петрища да Азадкевич, что бабу неразумную подговорили бумагу государю подать. Хоть и ложная та бумага, да без нее-то так бы и не открылось злодейство над младенчиком Федором. Ложь, она ведь и во спасение бывает. На то и послан губернатором Страхов, чтоб правду от лжи отделить да

жидков-кровопийц на чистую воду вывести. Нет, ссориться с Азадкевичем и Петрищей нету у него никакого резону.

Да и славный человек — учитель Петрища. Как станет мягким говорком про жида вороватого сказки сказывать, так удержу нет — обхохочешься. Любил, говорит, в молодости по корчмам да постоянным дворам с людом всяким толковать да сказки, пословки, прибаутки записывать. Заветной мечтой поделился со Страховым: ученый труд о сказках и пословках составить, в Петербург свезти да издать. Образованный человек! Начнет рассказывать, так сразу берись за живот. А сам даже не улыбнется, каналья! Только веселость в глазах его голубых засветится, и в углах бородатого рта легкая усмешечка затаится.

ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТОГО

— Ехал, значит, Ицка, жид вороватый, из Шклова в Бердичев, — начинает обычно издалека Петрища. — Хотелось ему там на ярмарке уторговать рублей на сотню, а сказал бы спасибо и за десяток, не погневался бы и тысяче. Жид вороватый норовом таков: лапу протягивает за карбованцем, не отступится от червонца, не побрезгует и гудзиком.

— Чем не побрезгует? — переспрашивает не понявший, но заранее приготовленный к смеху Страхов.

— Гудзиком, — повторяет, оправляя бороду, Петрища и поясняет: — То есть оловянной пуговкой.

— Ха-ха-ха! — радуется Страхов. — Гудзиком!

— Едет он, едет, — невозмутимо продолжает Петрища, — только страх под его жидовский кафтан пробирается и ну его жидовскую грудь щекотать.

— А что, Иван, нет ли тут по пути гайдамаков, — спрашивает жид вороватый доброго батрака своего Ивана.

— Как не быть, есть! — отвечает ему добрый батрак Иван. — И злые-презлые. Богатых жидков режут да прикалывают, а нашего брата награждают за то, что жидков подвозим.

Тут пуще прежнего страх зашекотал жида вороватого.

— Как же мне быть? — спрашивает.

— А как тебе быть? — отвечает Иван, помахивая кнутиком. — Ты сам же сказал, что у тебя нет ни гроша с собой, что в мешке звенят одни черепки да битые стекла. Так нам с тобой и бояться нечего.

— Оно бы и так, — продолжает трусить жид вороватый, — у меня кроме битых стекол да муравленных черепков, деткам на иг-

рушки, нет шелега; ни дома, ни при себе, ни за собой, ни за женой. Да только, сердце мое Иван, у меня семья большая, дети, жена, и мать, и теща, и свекровь, и золовка, и бабка, и внучата. Если я пропаду, сгинет со мной сто душ. Я тебя велю, Иван, накормить локшанами, куглей, манов и лапшердаков дам, поднесу тебе в первой корчме горилки, и вишневки, и терновки, и смородиновки. Только заступись за меня, не дай в обиду гайдамакам.

— Хорошо, — отвечает добрый батрак Иван. — Полезай же в мешок; я тебя завяжу, а ты лежи смирно. Если гайдамаки придут, так я скажу им, что везу битое стекло на ярмарку, и они отступятся без греха. На кой прах им твои черепки?

— Умная голова! — обрадовался Ицка, жид вороватый, и полез на карачках в мешок.

— И полез? — смеясь, переспрашивает Страхов.

— Полез! — оглаживая белой, почти девичьей рукой бороду свою, отвечает Петрища. — Куда тут денешься, ежели гайдамаки повсюду рыщут?.. А Иван завязал тот мешок, уклал в бричку и погнал тройку в шлейках. Едет он, едет, да скучно ему стало, и вздумал добрый Иван над жидком вороватым подгулять.

— Стой! Куда едешь? — закричал он вдруг не своим голосом.

А потом сам отвечал:

— Еду я в Бердичев на ярмарку, а вам, честным бурлакам, от меня поживы не будет, нет со мной добра никакого.

— А что у тебя в мешке? — спросил он опять сам себя чужим, сипловатым, грозным голосом.

— Жидовское стекло. Одни черепки да битые бутылки везу, не купит ли кто, в Бердичев.

— Коли так, побьем с горя жидовское стекло, — сказал добрый батрак Иван опять тем же притворным голосом.

Ухватил кнутовище и давай лупить жида вороватого в мешке на все четыре корки.

— Ха-ха-ха! — хватается за живот Страхов, а учитель даже не улыбается.

— Жид лежит не шелохнется, — продолжает Петрища, — будто у него спина да бока и бебехи напрокат взяты. Только приговаривает за каждым разом, что Иван его кнутовищем гладит:

— Дзы-ы-н!

— Как, как? — всю хохочет Страхов.

— Дзы-ы-ы-нн! — Петрища бороду оглаживает нежной белой рукой. — Добрый Иван его ударит, а он отзывается — «дзы-ы-н»; Иван еще раз, а он — снова «дзын»; Иван в третий, в пятый, в десятый раз, а жид вороватый все «дзын» да «дзын».

— Ой, не могу! — кричит Страх, заходясь от смеха. — Ой, по-падите ради Христа, ха-ха-ха! Все «дзын» да «дзын», ха-ха-ха! Ох, и уморили вы меня, господин учитель. Ну, чем дело-то кончилось?

— А ничем, — спокойно отвечает Петрища, пряча усмешку в углах рта. — Так и прибил бы Иван жида вороватого, да ведь русский человек, известно, только с виду грубоват, душа-то у него христианская, жалостливая. Погулявши вдоволь над жидком, Иван отошел, громко притопывая, в сторону леса, потом тихонечко воротился и стал прислушиваться.

— Жив ли ты, Ицка, жид вороватый? — спрашивает Иван, развязывая мешок.

— Жив, жив, — отвечает тот. — А зачем же ты меня в обиду дал? Ты бы, Иван, заступился; меня избили, как ледащую кобылицу на пристяжи.

— Хвались! — отвечает Иван. — Мне хуже твоего досталось. Ведь я же тебя собой заслонил, боков своих не жалея. Кнутовище ореховое по мне самой середкой ходило, а тебя оно только концом прихватывало.

— Так и сказал? — хохоча, изумляется Страх. — А жид что? Неужто поверил?

— Само собой, — невозмутимо отвечает Петрища. — Потрепал жид вороватый Ивана-батрака по плечу и говорит:

— Ну, сердце мое Иван, слава нам с тобой, что ладно гайдамаков-злодеев обманули!

— Как это — нам с тобой! — закричал на это добрый Иван. — Ты, жид вороватый, лежал, как зарезанный баран! Это я тебя схоронил, я и выпустил. Я один гайдамаков обманул. Что бы ты, байковый жилет, делал без меня?

— Нет, Иван, — промолвил жид вороватый. — Конечно, ты молодец, но и я не промах. Кто бы тебе поверил, что в мешке битое стекло, если бы я не стал приговаривать за каждым ударом — «дзын»!

— Ха-ха-ха! — повизгивает от удовольствия Страх, то за живот хватаясь, то глаза платком утирая да головой покачивая. — Ну, спасибо, учитель, потешили вы меня сказочкой!.. Ай да Иван! Простак, простак, а как жида вороватого надул! «Дзын» да «дзын». Потешили!..

С тех пор и приходит учитель почти каждый вечер к Страху, и рад ему следовательно безмерно. Если б не эти визиты, так, наверное, изнемог бы от тоски в полужидовском Велиже.

А однажды старинную книгу принес с собой учитель Петрища.

— Коли вы расследованием того загадочного убийства заняты, полезно вам будет с книжицей сей ознакомиться.

Страхов повертел в руках книгу, полистал да возвратил Петрище.

— По-французски я, господин учитель, изрядно учился, но польского языка совсем не знаю. Так что благодарю покорно, но книжицей вашей воспользоваться не могу.

— Ну, что вы, господин следователь, — возразил Петрища негромким своим вкрадчивым голосом. — Разве язык — помеха? Да я польским свободно владею и все равно бываю у вас каждый вечер. За книжицей мы веселее время коротать будем.

Так и повелось у них. Сидят по вечерам за самоваром, Петрища чаек не спеша прихлебывает да из книжки той польской вкрадчивым голосом переводит. Страхов-то рад бы кое-что посерьезнее чая на стол выставить, да не принимает крепких напитков Петрища.

— Такой, — говорит, — у меня *принсип!* На вине-то все больше жида наживаются, так я лучше совсем пить не буду, чем допущу, чтобы жида из-за меня наживались.

Занятная книга та — ничего не скажешь!

Двенадцать глав в книге — по числу еврейских месяцев. И в каждой главе про то, какие противу христиан злодейства евреи в оный месяц учиняют.

Знающий человек составлял!

Сам из бывших евреев, да не из простых, а из раввинов.

В книге-то и про человека того написано! Он в Брест-Литовске родился, на дочери раввина женился да сам раввином сделался. И так усердно премудрости еврейские изучал, что головой помутился. Буйство вдруг учинил — насилие связали.

Уж как старались буйное помешательство его излечить, но ни лучшие врачи, ни лекарства, ни снадобья не помогали раввину. Тогда его к знаменитому знахарю привезли, и стал знахарь творить свои чары. Над камином горящим больного поместил и давай бесов на помощь звать. А как не помогли и бесы, связал он помешанного цепями, в погреб запер, стал новые чары придумывать.

А безумец в погребе сидит, о богах разных размышляет да вдруг как завопит:

— О, ты, Бог христианский! Если ты истинный Бог, то сделай так, чтоб мои цепи тотчас разлетелись!

И только промолвил он вещице те слова, как цепи тяжелые в прах обратились, окно в темном погребе объявилось да само собою распахнулось.

Безумец прыг в окошко и прямым ходом в костел. Пал на колени перед батюшкой: желаю, мол, святое крещение принять! И от всех недугов с того часу излечился.

А как объявился вскорости убиенный младенец, и евреев за то предали суду, так бывший раввин в суд явился да на Евангелии святом присягнул.

— Проливают евреи кровь невинных детей христианских, — сказал, — чтобы творить свои чары, и делают они сие по ясному приказанию своего Талмуда. Я сам, — сказал бывший раввин, — прежде чем Бог призвал меня к святой христианской вере, замучил двоих христианских детей. Способ же истечения крови таков. Схвативши ребенка, кормят его в продолжении сорока дней всякими яствами в самом темном погребе, забавляя его в это время игрой в карты, даванием денег и прочими комедиями. Потом ребенка выводят из погреба, и раввин, взяв его за руку, ударяет его ланцетом в малый палец правой руки, да так, чтобы кровь брызнула раввину прямо в глаз. Потом раввин берет священный нож, оправленный в серебро, и этим ножом ударяет ребенка в правый бок, подставляя под текущую кровь серебряную позолоченную миску. Потом сажают ребенка в поместительную бочку, а в ней со всех сторон вбиты острые гвозди длиной в гусиное перо. Ребенка качают в бочке, гвозди тельце его протыкают, и так до тех пор, пока не выйдет вся кровь до последней капли. Потом вынимают ребеночка из бочки и прибавают его к кресту, а раввин произносит еврейские слова: «Веник мае некомо ба гоим удалейхем», что означает: «Подобно тому, как мы замучили христианского Бога, который назывался дитятей, так должны мы мучить христианских детей»!

Вот что показал бывший раввин на том суде, присягнув на святом Евангелии!..

На суде, правда, выяснилось, что не таким совсем способом был замучен ребеночек, из-за которого судили евреев. Но бывший раввин разъяснил, что ритуал обязателен только тогда, когда убивает раввин; если же простой еврей схватит ребенка, то мучает и убивает, как может. Важно только, чтобы труп потом не закапывать, потому что это называется у евреев «пегер», то есть падаль, а падали им нельзя хоронить.

Целую книгу пообещал бывший раввин про еврейские злодеяния написать, и написал про каждый месяц, какие у них обряды и для чего в этих обрядах надобна христианская кровь.

Есть, вишь, две недели в году вовсе даже особенные. В любой день из этих двух недель раввин берет кровь зарезанного ребенка

и незаметно мажет ею двери в доме какого-нибудь христианина. И от этого чародейства христианин становится ласковым к евреям и любит их больше, чем своих братьев-христиан. Вот главный секрет, почему иные короли да магнаты, и даже римские папы и просто люди именитые и влиятельные в еврейские злодеяния не верили и в разные времена евреям покровительствовали и от обид их защищали. Все от чародейств, имеющих великую силу через кровь христианских младенцев!

А еще кровь надобна евреям при венчании. Раввин дает новобрачному яйцо, и вот в яйце этом имеется христианская кровь...

А когда еврей умирает, глаза ему мажут тем же пропитанным кровью яйцом.

Ну, и во время пасхи, об этом все знают, евреи употребляют пресный хлеб, и в нем всегда есть христианская кровь.

А еще такая еврейская предприимчивость. Чтобы везло в торговле, берут письмо от раввина, и в нем содержится христианская кровь. Письмо это незаметно закапывает под порогом дома какого-нибудь христианина. И все! С этого момента евреям везет в торговле!

Ни один, стало быть, праздник, ни одно рождение, свадьба, ни одна торговая сделка не обходится у евреев без христианской крови!..

Учитель Петрица от книги отрывается, белой, почти девичьей рукой бороду свою оглаживает, и нет усмешки в углах его рта, нет веселья в синих, как небо, глазах. Такой холодный железный *принсип* во взгляде Петрицы стоит, словно два шомпола ружейных в тебя уставлены.

Да, книга... Всем книгам книга! Может, и не все верно в ней, может, и прибавил чего бывший раввин, как-никак в помешательстве тяжеленном долгое время был. Да не все же в книге одна прибавка! Пусть половина в ней правды. Пусть только половина от половины. Так ведь и того сверх головы довольно, чтобы всех жидков вороватых истребить до последнего человека, и мало им еще будет!

Мудро князь Хованский, однако же, поступил, что не другому кому, а ему, Страхову, дело сие наитруднейшее расследовать поручил. На законы надейся, а сам не плошай — вот *принсип* Страхова. По закону единому ежели поступать, так евреи всех христиан с потрохами сожрут да всю кровь христианскую выпьют! С ними как надобно? Ежели можно по закону, то по закону; а как по закону не получается, то и без закона можно.

Был случай у Страхова не так давно в Витебске. Проигрался в пух Страхов, долг на нем повис, а карточный долг — дело чести, а честь дворянину жизни дороже. Пришлось к Янкелю-скорняку идти, еврею толстенькому, слюнявому, закладами, кроме меховых работ, промышляющему.

Перстень заложил ему Страхов, табакерку, часы швейцарские, цепочку золотую. В аккурат думал получить сумму долга своего. Да куда там! Жидок-то прижимист. Кланяется, лъстивые слова говорит, руки свои короткие к сердцу прижимает, глаза закатывает, рад, мол, всей душой барину услужить! А сам цены занижает, недостает Страхову для уплаты долга.

Ну, не торговаться же дворянину с пархатым жидом!

Страхов мундир свой парадный в придачу принес, да Янкель как замотает головой, да как замашет руками. Нет, и нет! Закон от начальства вышел — мундиры чиновничьи да офицерские в заклад ни в коем разе не брать, а он, Янкель, закон уважает, и никогда супротив власти...

Осерчал тут Страхов, аж горло злобой перехватило. Сгреб в пятерню жидовский кафтан на жирной его груди.

— Ах ты, каналья, — кричит, — мерзопакостная! Что же, я через тебя должен пулю себе в лоб пустить! Ты мне вонючим законом в нос не тычь, я законы и без тебя знаю! Бери, говорят, мундир, не то всю бороду вырву!

Съежился Янкель, дрожащими пухлыми пальцами отсчитал ассигнации и, не говоря ни слова, посмотрел на Страхова с укоризной великой в печальных глазах.

Дрогнуло тут что-то в сердце Страхова:

— Слово дворянина даю, — говорит, — мундир первым делом и выкуплю.

И вправду выкупить хотел Страхов, честно хотел выкупить! Да тут — бал, как на грех, в дворянском собрании.

Что же ему, через жида бал пропустить и всю свою жизнь, может быть, загубить? Страхов ведь не за кем-нибудь — за дочерью губернаторской волочится. Все вечера в губернаторском доме торчит, старой жеманящейся княгине в дурачка проигрывает да княжне, поминутно вспыхивающей, руку украдкой жмет. Тоска смертная. От той тоски и проигрался, может быть, Страхов, когда однажды к гусарам сбежал. Закружило Страхова: воля вольная, и вино, и сальные гусарские шуточки, и повело, повело, азарт дикий напал, и продул Страхов и жалование свое, и все, что папенька из имения шлет, да еще и в долг проиграл — пусть! Может встрях-

нуться разок православная душа или нет? Да ведь на бал в будничном мундире не явишься, а кадрили да мазурка с княжной за ним уж записаны.

Пошел Страхов к Янкелю: давай, говорит, жид, мой мундир, потому как по закону нельзя тебе мундиры в заклад брать! А деньги я тебе отдам — слово дворянина даю!

Попробовал было еврей возразить что-то, да как топнет, как закричит на него Страхов:

— Ты что же, каналья жидовская, слову дворянина не доверяешь? Да я тебя за такое оскорбление руками своими задушить могу!

Побледнел трусоватый еврей, вздохнул тяжело да молча мундир и выложил.

Так и надобно с ними.

Возьмите хоть историю с этим убиенным младенцем. Вот уже разбирали дело сие и по закону, и не совсем по закону, по свежим следам разбирали, а каков результат? «Предать смерть младенца Федора воле Божией»!

Врете, жида, не таков следовательно Страхов! Не даром сам князь Хованский его отличил!

Глава 8

— И так, Терентьева Марья, нищенка, живущая пода-
нием. Стало быть, вы признаете, что младенца Фе-
дора, Емельянова сына, евреи на ваших глазах за-
мучили, и вы сами были им в том злодействе усердной помощ-
ницей?

— Признаю, батюшка...

Марья затравленно глядит в колючие, как у волчонка, глаза следователя и не может понять, как это так получилось, что пухлогубый, с прилизанными волосенками мальчик забрал над нею такую силу.

— Ну, вот, так-то лучше! — одобрил Страхов, откидываясь на спинку кресла. — И ты, стало быть, можешь обо всем в подробности рассказать?

— Могу, — покорно соглашается Марья.

— И евреев тех по именам назовешь?

— Назову, — подтверждает Марья.

— Славно, — одобряет опять Страхов. — Ты, значит, их назовешь, я их заарестую... А ежели они от всего отойдутся?

— Знамо дело, отойдутся! — соглашается Марья.

— А ты? — Страхов привстал, перегнулся через стол и, пристально глядя в притененные густыми ресницами Марьины глаза, погладил ее по гладкой щеке. — Ты — не отойдешься?

— Я-то не отойдусь! — отвечает Марья, на всякий случай подмигивая следователю.

— А отойдешься, так тройная порция плетей выйдет! — напомнил Страхов и снова жесткими пальцами защемил кожу на марьиной щеке. — Ты-то у меня не выскользнешь...

— Не отойдусь я, батюшка! — взвизгнула Марья. — Куда уж мне теперича отпираться!..

— То-то и оно, что некуда! Хорошо, Марья, что ты это понимаешь, — Страхов отпустил Марьину щеку и снова откинулся на спинку кресла. — Итак, ты на своем стоять будешь, а они на своем... Как же нам с тобой правду им твою доказать?

Марья удивленно хлопает опалами.

— Это тебе лучше знать, батюшка.

— Припомни-ка, — подсказывает Страхов, — не было ли там еще кого из христиан, кто в том деле участвовал, и показания твои подтвердить может?

— Как не быть, батюшка! — похлопав ресницами, радостно вскрикивает Марья. — А Авдотья на что?

— Какая Авдотья?

— Максимова, какая же ищо! Когда Ханна Цетлин мальчика в дом привела, дверь-то ей служанка ее Авдотья открыла. Приняла мальчика да в дом унесла. А потом уж мы с ней, с Авдотьей, его к старухе Мирке перенесли. А потом вместе и в колодец бросили...

— Постой, постой, по порядку давай. Значит, вы, Терентьева Марья, утверждаете...

Глава 9

Авдотья Максимова, стареющая, дородная, тугая на ухо баба, перед следователем сидит, каждое слово громким «Ась?» переспрашивает, бессмысленные пороссячи глазки тарашит, и что это пухлогубому выбритому господинчику с прилизанными волосиками от нее надобно, взять в толк не может.

Снова отсылает глупую бабу следователь, потом новый допрос. А она опять ладонью ухо оттопыривает, «Ась?» — как выстреливает — выкрикивает. И снова отсылает ее следователь, ничего не добившись.

Всю, почитай, взрослую жизнь прожила Авдотья у Цетлиных; так прожила, что грех жаловаться, а про то, что прежде в ее жизни было, в памяти почти не удержалось.

Даже батьку с маткой да все детские годы свои позабыла Авдотья, словно черным покрывалом кто их покрыл; только то и застряло в памяти, как сосало у ней в пустом брюхе.

Потом слепого монаха она по дорогам водила милостыню собирать, и столько навидалась всякого — страсть! А помнила Авдотья про то только, как опять же в брюхе пустом сосало, потому что монах, да и не монах он вовсе был, а просто бродяга с выеденными оспой глазами (монахом вырядился, чтоб больше ему подавали), так он, монах-от, милостыню всю в своем мешке держал, ей ничего не давал, а ежели Авдотья утаит по слепоте его какую корочку, так всегда про то нюхом учувал и палкой своей ее потчевал.

Он же, монах, и к блюду греховному приохотил Авдотью. Подполз к спящей — лето было, они в лесу ночевали — да как опрокинет навзничь, как схватит дрожащими похотливой дрожью ручищами...

Авдотья мала еще была, годков двенадцать али тринадцать. Испужалась пуще геенны, давай во всю глотку вопить, руками ногами отбиваться... Да где там! Лес огромный да весь пустой, кого тут докличешься... Монах руки ей раскинул да к земле притиснул, коленями пригвоздил, и лежит она, корчится, как распятая, коряга острая в спину впилая, а монах распластался на ней и только начавшую набухать нежную девичью грудь ее вонючим ртом своим слюнявит, и что-то хриплое в горле его булькает...

С той ночи, с перепугу, видать, стала понемногу гложуть Авдотья. Монаху не давалась больше: настороже была. Он и грозил, и бил ее, и умолял; однажды на коленях к ней полз, руки вперед выставивши, точно к чудотворной иконе, да она только посмеялась над ним: в сторонку тихохонько отошла, подкралась сзади да по затылку хлопнула. Ох, и озлился он после того! Недели две за каждым шагом ее следил, чтоб не съела чего. А когда она изголодалась так, что хоть ложись и помирай, он и приманил ее хлебушком.

Противны были Авдотье медвежьи повадки монаха, особенно то, как подкрадывался он к ней и жадными ошупывающими руками начинал с нее одежду срывать, и пока срывал, дрожал весь противной какой-то дрожью. Авдотья торопилась сама поскорее платишко свое скинуть, да сердился на то монах, почему-то надобно было ему непременно самому ее раздевать.

Пообвыкла со временем Авдотья, а как реже стал он к ней приставать, так она сама подползала к нему по ночам да прижималась, только гнал он теперь ее прочь от себя, даже палкой гнал, потому как все больше немощен делался, Авдотья же, напротив, в цвет жизни входила.

И улизнула от слепого, как только поманил ее белозубый кузнец в кожаном фартуке.

Всем был хорош кузнец, и нравилось Авдотье, как пахнет от него лошаадьми да горячим горном. Только шибко дурел кузнец от вина, а одурев, избивал Авдотью пудовыми кулаками до полусмерти.

Однажды избил ее так, что она еле живая лежала, а сам ушел куда-то, видать, в шинок; там еще вина принял, воротился с налитыми кровью глазами и стал матерясь закатывать рукава на крепких, словно поленья, руках. Смотрит Авдотья, а в нем даже злобы нет, одна холодная жестокость и деловитая основательность в этом закатывании рукавов. И где силы только взялись вскочить да убежать!..

А потом были руки, много рук. Заскорuzлых, мозолистых, то дегтем, то прелым навозом, то псиной пахнувших, под коими наливались молодые груди Авдотьины да твердели сосцы. То с батраком, то с извозчиком, то со стекольщиком путалась Авдотья, а однажды даже бритый лакей обхождением барским ее прельстил, и тем перво-наперво, что, ложась с нею, никогда не снимал белых лакейских перчаток. Так, в перчатках, и обрюхатил Авдотью да посреди зимы на улицу выбросил.

Околела бы Авдотья в придорожной канаве, да Ханна Цетлин подобрала ее на базаре и, не посмотрев, что брюхатая, в дом свой привела, одела, обула да жить у себя оставила.

Прижилась Авдотья у Цетлиных. Дочку Маланью родила, вырастила, замуж выдала, да и сама состариться успела, а худого слова от хозяев своих не слыхивала. И то сказать, честно трудилась Авдотья Максимова!

Цетлины не то чтобы богачи, вроде Берлиных, однако люди с достатком. Ханна так дела свои торговые умела вести, что всегда она с прибылью. Ну, и поворачиваться ей приходилось — только поспевай! Торговля — она тоже сноровки требует, oprичь всего — шустрости. Чуть зазевался, и покупателя упустил... Ханна и в лавочке торг ведет, и товар достает, на ней и кладовые, и доставка, и весь денежный оборот — где там домом-то заниматься! Ну, а об муже ее Евзике и говорить не приходится. Он все по делам кагала еврейского бегаёт, да ратманом в магистрат избран, да в синагоге молится, а дома, если выпадет свободный часок, книгу толстенную с полки сьмет, бережно рукавом оботрет, серебряные застёжки отстегнет — и сразу как нет его. Ничего кругом не видит и не слышит: сидит над той книгой да губами шевелит.

А Авдотья не только моет все, чистит, скребет, на ней все покупки домашние. Она и кур к шойхету носит, и кошерные еврейские кушанья готовит: научилась, слава Господу, за столько-то годов! Даже говорит по-еврейски так, что не отличишь. Старается Авдотья, копейку хозяйскую бережет, а чтобы самой на ту копейку позариться, такого греха даже в мыслях с Авдотьей никогда не случалось.

И зачем ей? Она сыта и одета, да еще платит ей Ханна за службу ее усердную да сверх того подарками одаривает. На Пасху, на масленицу, на Рождество — хозяева к ней с подарочком! А как еврейский какой праздник — так тоже подарочки ей, Авдотье, подносят.

Авдотья руками только всплеснет:

— Ваш-ить праздник, это я вам подарки должна дарить!

— Ничего, — отвечает ей Ханна, — праздник наш, а ты тоже порадуйся. Греха в том нет.

А когда дочке авдотьиной Маланье, что тут же в доме выросла, замуж идти время пришло, так они, хозяева то есть, всё, почитай, приданое ей справили.

Бывает, сойдутся на базаре бабы и ну евреев ругать! Так Авдотья, хоть и на ухо туговата, в миг про то услышит и в спор, как в бой, с неожиданным для тихого нрава ее ожесточением.

Накинутся бабы на нее: не знаешь ты их, врагов христовых! Они Спасителя нашего Иисуса Христа распяли и каждодневно злодейства всякие и предприимчивости супротив христиан замышляют!

Но невозмутима Авдотья. Руки в бока упрет и скалою стоит.

— Про то, что евреи Христа распяли, — говорит им, — вы горазды судачить, ну, а кто сам Христос был? А Матерь Его Божия? А святые апостолы? Русские, может, они были, али хохлы, али поляки? Али, может, хрэнцузы какие-нибудь?

Замолкают тут бабы, растерянно переглядываются... Сколько на белом свете живут, по церквам молятся, ан, и в голову не приходило задуматься, какого роду-племени Иисус Спаситель и святое семейство его?

— Евреи они все! — обводит Авдотья баб маленькими порочьями глазками. — Евреи!

Ей про то Евзик давно уже разобъяснил. Долго отказывалась верить ему Авдотья, так он по святым христианским Евангелиям ей растолковал, и по всему получалось, что точно, евреем был Христос да апостолы. Шибко изумилась тогда Авдотья, все думалось: а что, если опутал ее коварный жид! Решилась Авдотья батюшку в церкви спросить, да осерчал сильно батюшка, кричать стал, позабыв про солидность сана. Но как снова и снова Авдотья к нему с тем вопросом, так он погрузнел весь и шепотом, словно стыдно ему за то, сообщил Авдотье: точно, мол, еврейского племени Христос и Матерь Его, и Иосиф плотник, и Иоанн Креститель, и все апостолы.

— Мне ли не знать евреев, — видя замешательство бабье, переходит в атаку Авдотья, — ежели я целую жизнь, почитай, в еврейском доме живу, состарилась в ем, а худого слова не слыхивала. Иной раз загуляю где, грешница, так Ханна, хозяйка моя, только посмотрит строго, да скажет: ступай, мол, Авдотья, пропись. Может, где есть и плохие евреи, но мои хозяева не такие, и всякому про то скажу, и всегда говорить буду!..

Притихнут бабы, призадумаются.

— Да, среди них тоже которые хорошие люди бывает, — скажет одна несмело.

— И я вот семейство одно знаю, — подхватит другая.

И пойдут бабы обратное говорить. А Авдотья ухо ладонью оттопырит, чтобы слова случаем не пропустить, и дюже радуется, потому как во всяком суждении перво-наперво справедливость и правда надобны.

Домой придет после такого сражения да не утерпит, — хозяевам все перескажет. Выслушают ее Ханна да Евзик, да переглянутся, да усмехнутся, да грустно вздохнут.

— Простой народ зла на нас не таит, — скажет Евзик. — Кто людям обидчик, того они и ненавидят, а еврей это или не еврей — народу неважно.

— Так бы и было, — возразит ему Ханна, — если бы злые люди народ не смущали. Чтоб мне так жить! Если бы нам с тобой каждый день нашептывали, что поляки, к примеру, или русские такую веру имеют, чтобы детей наших хватать да замучивать, кровь их пить, — что бы мы с тобой о них думали?

— Чтоб мне так жить! — подхватывала хозяйкину присказку Авдотья. — Все горе от злых людей. Они сами народ мучают и его же супротив других наставляют...

— Ась? — кричит Авдотья следователю Страхову, ладонью ухоттопыривая и тараша поросячьи глазки.

Ишь ведь куда, стервец, заворачивает! Через нее, через Авдотью, хозяев ее погубить хочет... А разве это по-Божески — людей погубить, когда чуть ли не цельную жизнь у них прожила и ничего кроме добра не видела? Нет, не на ту нарвался! Авдотья не скажет того, что ему надобно. Авдотья насмерть будет стоять, а хозяев своих погубить не даст.

Так говорит себе Авдотья, только чувствует, как страх тошнотворный проникает ей внутрь и ползет, ползет вверх, от живота к самому горлу подступает, и нет мочи совладать с этим страхом. Очень уж бритая рожа следователя лакея того Авдотье напоминает, что обрюхатил ее, не снимая перчаток. Уж как перед баринном своим Норовым стелился, а ее, Авдотью, среди лютой зимы на улицу выбросил — так ни один мускул в лице не дрогнул. Авдотья так и завyla тогда, слезами горячими залилася. На колени упала перед погубителем своим, схватила его руку лакейскую и давай перчатку белую целовать.

— Кудыть, — ревет, — родненький, мне итить? Дозволь хоть у двери рогожку постелить, я не беспокою.

А он только вырвал руку и безгливо поморщился.

— Надоела, — говорит, — ты мне, Авдотья, а потому — ступай отседа подобру-поздорову; не испытывай, — говорит, — терпение мое лакейское, потому что ежели я перчатки свои белые сыму, то мигом на ноготь тебя уложу да кишочки и выпущу.

И глаза зеленые, волчьи на Авдотью не мигая глядят, и усталость и скука в безразличном лице, и поняла Авдотья: как сказал, так и сделает...

Чем пристальнее вглядывается Авдотья в следователя Страхова, тем больше сходству дивится: такие же волчьи глазки, такой же вздернутый носик, веснушками, словно мухами, засиженный, и рот припухлый, детский чуть на бок съезжает при усмешке.

Не удержалась Авдотья, спросила вдруг Страхова:

— Ты, батюшка, случаем у господ Норовых не служил?

— Кем это я мог служить у господ Норовых? — удивился Страхов.

— В лакеях, кем же ищю!

— Что-о-о! — грозно поднимаясь с места и наливаясь малиновым соком, захрипел Страхов. — Смеяться надо мной! — и он так жажнул кулачком своим по столу, что зазвенело вокруг и на столе писаря задуло свечу. — Я те покажу — в лакеях!..

Он подскочил к Авдотье и с такой злостью двинул по старушечьему лицу, что она со скамьи скovyрнула и горячая юшка заструилась у ней из разбухшего носа.

— Уберите эту жидовскую выкормышку, а то сам не знаю, что с ней сделаю, — заорал Страхов, отирая кулачок батистовым платочком.

Лежала после того Авдотья, пошмыгивала разбитым носом и все в толк не могла взять, как это вырвались у нее такие глупые слова. Ведь тот лакей ее, ежели жив, так уж старик подстать самой Авдотье, а этот, почитай, дочки Маланьи моложе. Когда Авдотья с лакеем путалась, его и на свете белом не было!..

Только не долго обо всем этом Авдотья могла размышлять: загремели засовы, и опять она, трепеща вся от страха, предстала перед следователем Страховым.

— Итак, Авдотья Максимова, — угрюмо заговорил Страхов, упершись глазами в массивный свой стол. — Привлеченная по делу сему Марья Терентьева показывает, что вы, служа в доме Ханны Цетлин, два года тому назад, в самый день Воскресения Христова, видели, как ваша хозяйка Ханна привела христианского мальчика. Вы сами хозяйке дверь открыли и мальчика в дом увели. Подтверждаете вы это показание или нет?

— Ась? — выстреливает Авдотья.

— Я говорю, — кричит Страхов, и лицо его опять багровеет, — что нам все известно! Признáетесь и всю правду покажете, государь вас простит. А не признаетесь — и себя, и хозяев погубите.

— Ась? — снова выкрикивает Авдотья.

— Я те покажу — «ась», — взвизгивает, как ужаленный, Страхов.

И вот уж Авдотья опять на полу лежит, руками лицо прикрывает старается, а он стоит над нею и оттирает кулачок батистовым платочком.

Тихо постанывает на тюремной койке своей Авдотья. Сплюсывает сквозь разбитые губы остатки гнилых зубов, думает, думает, до боли напрягаясь от непривычки к мозговой работе.

Да, этот следователь — не какой-то лакей при господах Норовых.

Ежели задумал он Ханну Цетлин да мужа ее Евзика да дочку их Итку загубить (Итку особенно жалко Авдотье, сама же ее вместе с Маланьей своей растила), так он, стервец, все одно их загубит: вон ведь какую силищу забрал. А ей, Авдотье, прощение обещает. Вот и соображай, как тут быть. Упираться дальше — их все одно не выручишь, только себя вместе с ними погубишь. А показать, что ему надобно, тоже нельзя — не по-Божески. Тварь подлющая Марья Терентьева: в какие дела Авдотью задумала впутать...

— Ась? — отчаянно выкрикивает Авдотья на новом допросе, заранее голову в плечи вжимая и локтем стараясь прикрывать лицо, но Страхов устало машет рукой:

— Уведите глухую тетерю. Мозги, видно, высохли у нее давно. Ни черта ей не втолкуешь!

И забыл про Авдотью следователь Страхов...

День проходит, второй, третий... А там и вовсе счет дням потеряла Авдотья. Утром засовы гремят, ей кружку кипятку да краюху хлеба приносят. Вечером тоже гремят засовы, и опять хлеб да вода. А в промежутках — тишина, как в могиле. Скоро уж день с ночью стала путать Авдотья, ослабела настолько, что круги стали плавать перед глазами и уже вставать ей трудно с койки своей. И вдруг — опять приходят за ней, и опять Страхов — ни дать ни взять, тот лакей — утирает кулачок тонким батистовым платком. Где найдешь на такого управу?..

Авдотья ить тогда к барину, самому Норову, в ноги бросилась: защити, мол, батюшка, обрюхатил меня твой лакей да на мороз теперича гонит. Ну, барин лакея позвал, да тот глянул только волчьими глазками на Авдотью и отвернулся.

— Не знаю, — говорит, — этой бабы, откелева взялася и ко мне навязаться хочет.

Рассмеялся на те слова молодой барин Норов:

— Ну и шельмец же ты, братец, — сказал.

Тем дело и кончилось.

А на этого — кому жаловаться станешь? Вон как за столом своим восседает!.. Руки на столе, пальцы переплетены, ноготки лаком так и поблескивают.

— Итак, Авдотья Максимова...

— Ась? — выкрикнула Авдотья.

А как подскочил к ней следователь, как замахнулся маленьким своим кулачком, она зажмурилась в страхе, выпалила, опережая его:

— Постой, батюшка, постой бить!..

Ну, и припомнилось ей... Так ярко припомнилось, что сама дивилась потом, как это могла такое забыть... Ну да, в тот самый год, когда солдатский сын пропал, а может и в другой год — этого точно не вспомнишь, как раз на Святой неделе, прибиралась она в комнате своей хозяйки Ханны, да случайно заметила в углу, за спинкой кровати, беленького мальчика. Стоял он там, тихо всхлипывал да кулачками глазенки тер. Что за мальчик, откуда взялся, куда потом подевался — этого Авдотье неизвестно. Но — был мальчик!

С облегчением опустил Страхов в кресло и на спинку откинулся. Ну, наконец-то! Начало положено. А он уж отчаялся добиться чего-нибудь от безмозглой старухи. Но — терпение и настойчивость! — это в их деле главное. Нет, не зря благодетель князь Хованский из всех губернских чинов его отличил и к делу сему многотрудному приставил. Страхов дело знает! Страхов не подведет. Расколлот-таки глухую тетерю. Она, конечно, немногое показала, да для начала довольно. Зацепилась коготком птичка — теперь уж не выскользнет. Немало еще придется Страхову кулачком поработать, но теперь все скажет ему Авдотья — и про то, как ребеночка мучили и убили, и как сама она в том деле участвовала, пособляя кровожадным евреям.

Ну, вот, главное сделано! Осталось только с возможной подробностью воссоздать картину страшного злодеяния. Пустяк то есть самый остался!

Тут уж как по маслу идти все должно. И по закону. Потому как рукоприкладствовать закон запрещает, и не Страхову же супротив закона идти. И так уж он сколько платочков батистовых извел!.. Теперь с этим покончено. Спокоен Страхов, выдержан, деликатен даже.

Допрашивает Страхов Марью Терентьеву, опухшими ресницами на него хлопающую, а писарь все тщательно за Марьей записывает. Потом Авдотью Максимову допрашивает Страхов, она испуганные свои глазки тарасит, ухо ладонью оттопыривает, на ка-

ждый вопрос громкое «Ась?» выстреливает, а писарь скрипит, все за нею записывает. Потом опять Марья Терентьева. И снова Авдотья Максимова.

Страхов спрашивает — они отвечают. С писаря ручейками пот бежит — утереться некогда. Лицо красное, кончик языка высунут, перо поскрипывает. Усерден следователь Страхов — помощника своего не щадит. Пишет губерния, дело бумагами полнится, от важности раздувается.

По ночам следователю ленты орденские сняты, губернаторская дочь под фатой смотрит глазами Марьи Терентьевой; гремит музыка, люстры горят хрустальные, золотом мундиры сияют, воздушные платья на благоухающих тонкими духами дамах. Придворный бал в Петербурге, и он, Страхов, Марью Терентьеву в кадрили ведет. Государь ангельской улыбкой своей улыбается и вдруг громко спрашивает испуганным голосом Авдотьи Максимова: «Ась?»

Эх, далеко еще ему до придворных балов да губернаторской дочки! В экую глухомань заслал его благодетель ненаглядный свет-князь, он же будущий тесть! До чего же глупые попались бабы!

Опять на допросе Марья Терентьева. А за ней Авдотья Максимова. А затем Марья Терентьева. И снова Авдотья Максимова. Писарь потеет, перо скрипит, бумага на бумагу ложится, дело полнится, да вперед не движется. Потому как, если верить Максимова, то малец в один день помер, а если верить Терентьевой, то в другой. Если верить Максимова, то труп его от Цетлиных выносили, а ежели верить Терентьевой, то от Берлиных... Максимова трупик от крови отмыла, одела, да с двумя евреями в бричке вывезла. Это — если верить Максимова. А если Терентьевой верить, то она да Максимова без брички и без евреев все сделали. Трупик из дому вынесли, камень на шейку его повязали да в колодце утопили.

А тут еще под рукой бумаги прошлого дознания лежат, будь они неладны. Ведь если бумагам тем верить, то мальчика у дороги в лесу обнаружили, а вовсе не в колодце.

Еще, когда мучили, так ему «уд детородный» по самый мешок изверги-еврей оттяпали. Это — если верить Марье Терентьевой. Ну, а если бумагам тем верить, то на кончике уда лекарь темное пятнышко углядел — как бы от натертости ляжками. Был, значит, уд на самом что ни на есть положенном ему месте! Еще кровоподтек на затылке, да нос приплюснут к губам, а губы прижаты к зубам. Это — если верить бумагам.

— Так как же, Авдотья, все это объяснить?

— В опасении, чтобы он не закричал, ему перед тем, как из дома вынести, рот да нос шарфом закрыли, да на затылке узлом завязали, — пеля поросячьи глазки, поясняет Авдотья Максимова.

— Значит, он еще живой был? — спрашивает Страхов.

— Ась? — выстреливает Авдотья.

— Живой, спрашиваю, был? — кричит Страхов.

— Живой ище, как не живой! По пути он от шарфа того и задохся, сердешный, — отвечает Авдотья, и пот прошибает теперь не писаря, а самого Страхова.

Бабе-то глупой легко, а каково ему, следовательно, если в дело уже вписано, вшито, пронумеровано собственное Авдотьино показание о том, как труп она обмывала да в бричку укладывала... А теперь вот, пожалуйста — живого вывезли...

Одно спасение Страхову — вечером, после тяжких трудов, с умным образованным человеком потолковать.

Глава 10

Входит учитель Петрища неторопко. Пошаркает в передней, галоши кожаные снимая, шубу человеку на руки сбросит, да и войдет, сутулясь, плотно дверь за собой притворит. Книгу польскую на стол положит и станет переводить Страхову страницу за страницей — успевай, господин следователь, все важное записывать.

Вот ведь сколько коварств хитроумных придумывают жида! В бочке, гвоздями длиннющими утыканной, младенца качают — все тельце его гвозди те протыкают, ну, и помереть, кажется, должен он в бочке-то... Так нет же... В том месте, что против сердца, они гвоздей не вбивают. Мучается младенец, а помереть не может! Его живого из бочки вынимают да на кресте, в память о том, как с Иисусом расправились, распинают. А кровь-то из всех ранок сочится, и они ее в особую золоченую чашу собирают... Вот какие изверги пейсатые!.. Ну, ничего — не ускользнуть им от Страхова. От Страхова не ускользнешь...

Потрудятся они так с часок, да велит Страхов человеку своему Степану самовар подавать. И вот сидят они трезво, два образованных человека, Петрища чаек не спеша прихлебывает да байками своими хозяина потчует. Как всегда, издаля рассказ вести начинает.

ВТОРАЯ СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТОГО

— Заложил Иван-батрак тройку, жид вороватый посадил в бричку два-сорока жидов, жидовок, жиденков и жиденят, завалил их перинами, подушками, мешками и сундуками, и отправились они из Бердичева обратно в Шклов.

— Посмотрите, господа попутчики, — говорит один жидок, — как высоко летит стая гусей. И всегда у них есть вожак, всегда один гусь напереди летит!

— А сколько их всех? — спрашивает лукавый Ицка, жид вороватый.

— Тут все стали громко считать и насчитали двадцать семь.

— Так разве ж им можно, всем двадцати семи гусям, напередилететь?

— За это красное словцо, — продолжал Петрища, — и прозвали Ицку жидом вороватым.

— Как? Только за это? — разочарованно удивляется Страхов.

Петрища отхлебывает глоток чая и не спеша продолжает тихим своим вкрадчивым голосом:

— Жаль, что у нас нет ружья, — вздохнул первый жидок, — а то бы мы настреляли дорогой дичины!

— Небось, ты очень храбрый, — усмехнулся Ицка, жид вороватый, — ты бы сейчас взял ружье, прицелился и — бац?

— Нет, — отвечает жидок, — я этого не говорю. — У нас как-то стояли драгуны, так я и к саблям их подходить опасался: а ну, вдруг какая выстрелит.

Изумленный Страхов хлопает себя по коленке.

— Сабля — и выстрелит! Ха-ха-ха!

— Так жидок говорит, — не улыбаясь, поясняет Петрища. — А потом про братца своего, великого храбреца, жидкам рассказывает.

— Был, — говорит, — у меня брат, который мне приходится роднёю, потому что когда на его бабушке сарафан горел, мой дедушка рядом стоял да руки грел, так вот, этот мой брат, — говорит, — бывало стреливал и из ружья, и из пистоля.

— И пулю клал? — спросили жида в один голос, изумленные такой жидовской отвагой.

— Нет, — отвечал жидок, — он песком заряжал, потом вскинет к щеке, да закричит во всю глотку: «паф!»

— Паф! — с хохотом подхватывает Страхов, снова ударяя себя по коленке.

— Да-а-а! — продолжает серьезно Петрища, и только в углах губ его таится усмешка. — Вот этакого человека, — в один голос заявили жида, — надобно нам с собою. Не для того, чтобы дичину стрелять, а чтобы от гайдамаков обороняться. А битая из ружья дичина не кошерная, и есть ее нам не годится.

Петрища допивает остывший чай, подставляет пустой стакан под носик самовара, наполняет его, затем продолжает:

— Кому толчок, тому и носок; а щипаную курицу и ворона долбит. Пока разговор сей в бричке идет, добрый Иван-батрак на облучке сидит да знай себе лошадей погоняет. Только вдруг видит Иван: навстречу ему такая же жидовская бричка, битком набитая и кладью, и жидами, жидовками и жиденятами всякого калибра, а на козлах такой же, как он, батрак-хохол сидит.

— Стерегиись! — кричит ему наш Иван, а тот ему кричит:

— Стерегиись!

Так и съехались они и давай друг друга бранить и кричать: «Сворачивай», а сами с места не трогаются. Жиды из двух брык головы в мохнатых шапках во все стороны повысунули и кричат все в один голос. Такой бедлам подняли, что хоть уши затыкай. Это кучерам надоело и наскучило, и тот, который навстречу Ивану ехал, соскочил с козел, подошел к брыке Ицки, жида вороватого, и давай длинным бичом стегать по жидам.

— Так, так! — оживляется заскучавший уж было Страхов, — а дальше что?

— А дальше? — отвечает Петрища. — Что же дальше! Жиды вопят, а он стегает. Они вопят, а он стегает.

— А Иван что? — спрашивает Страхов с неподдельным интересом.

— А Иван — добрый батрак, — продолжает Петрища. — Глядел, глядел, да вознегодовал на беззаконие такое.

— За что же это ты, — кричит, — моих жидов бьешь?

— Ну, и? — обеспокоился Страхов.

Петрища помолчал немного, прихлебнул чай и продолжал с неизменной своей серьезностью.

— Раз ты такой, — говорит ему добрый Иван, — что моих жидов зазря бьешь, так пойду же и я твоих жидов бить!

— Ой! — застонал и засучил ногами Страхов, радуясь неожиданному обороту событий. — Ха-ха-ха! Ну и умора... Ну и уморил ты меня, учитель! Ха-ха-ха! — и Страхов полез в задний карман, чтобы утереть батистовым платочком пробившуюся от смеха слезу.

— Спрыгнул Иван с козел, — продолжал тихо Петрища, — подошел к другой брыке, и начал тоже, не щадя конского волоса, которым недавно навил плеть свою, стегать в крест и в переплет жидов своего противника.

— Ха-ха-ха! — не мог все унять Страхов, покачиваясь всем телом и притопывая ногами. — Ну, а дальше, дальше-то что? Не томи, учитель, досказывай свою сказку.

Петрища неторопливо прихлебывал чай, ожидая, пока следователь придет в себя.

— А дальше — что же! — сказал он. — Брыки в конце концов разъехались.

— И что же Ицка, жид вороватый?

— Да ничего!.. Спасибо, — говорит, — Иван, сердце мое, что за нас постоял. Я за это дам тебе стакан наливки и кусок сала.

Долго еще хохочет Страхов; с Петришей любезно прощается... Уже ночь на дворе, можно спать ложиться. В веселом настроении укладывается Страхов, предвкушает забавный сон про то, как Иван кнутом жидов стегает, а те по углам брыки жмутся, тихо попискивают и даже пощады просить опасаются.

Хорошо-о!

Только почему-то иной сон снится в ту ночь следователю Страхову.

Снова снится ему бал в столице, музыка, эполеты, веера, обнаженные плечи; высокий, стройный, подтянутый государь красив как Аполлон; Страхову ангельской улыбкой своей улыбается... И вдруг — что это?.. Косматая еврейка в грязном каком-то капоте, на кривых коротких ногах. По сторонам озирается, шаг за шагом к государю крадется.

Ростом еврейка с вершок, рот до ушей растянут и редкими гнилыми зубами утыкан. На правой щеке шишковатая бородавка бугрится, и из нее метелочкой волосы растут. А нос, нос горбатый еврейский крючком изогнут, точно зацепить чего хочет, и шумно старуха носом тем воздух втягивает, будто к русскому духу принюхивается. Смотрит Страхов, как крадется еврейка среди звезд, и эполет, и орденских лент, и бриллиантов, — и удивляется, почему это никто не прогонит каргу.

А старуха уж на шаг какой-то от государя останавливается, из-под полы нож выхватывает и с громким торжествующим хохотом прямо на государя бросается...

И тут только соображение Страхову в голову приходит, что кроме него никому еврейка невидима, и хохота ее бесовского никто не слышит.

Старуха в самое сердце государево черенок, серебром оправленный, наставляет, а государь поверх головы ее смотрит, ангельской грустной улыбкой своей улыбается и даже рукою сердце прикрыть не спешит. И один только Страхов чудовищное злодейство то видит...

Вдруг догадка молнией сверкает в его мозгу, и ужас пополам с восторгом захлестывает жгучей волной. Для него все устроил Господь! Для него одного, чтобы мог он подвиг великий свершить! Ему назначено спасти государя! Себя, может быть, под еврейский нож подставить, а государя своего милостивого защитить...

Броситься уж хочет Страхов, чтоб коварную руку остановить, да чувствует, что ноги его — от чародейств ли еврейских или еще от чего — к полу как бы приросли. Он крикнуть хочет, да язык его

одеревянел и во рту не шевелится. Что же это за напасть и проклятье такое! — видеть, понимать, как государя твоего убивают, и не суметь ничего сделать!..

А ежели дознаются потом, что он один все видел... Доказывая тогда, что вовсе ты не масон, евреям продавшийся, и не в сговоре ты со старухой...

«Остановите! Остановите!» — хочет крикнуть Страхов, но только слабое мычание выходит из его рта. Еще миг, и вонзит еврейка серебром оправленный черенок в священное сердце государево...

В холодном поту просыпается Страхов, свечку хочет зажечь, да дрожь такая в руках — никак не получается. Кличет Страхов человека своего Степана, да разве докричишься до этого канальи. Опять налился, небось, как свинья, да дрыхнет без задних ног. Тут хоть целая свора евреев набегит барина резать — его не дозовешься...

До рассвета теперь мучиться Страхову да сон свой страшный так и эдак повертывать. Привидится же такое!.. И главное — ярко все, отчетливо, каждая морщинка на поганом лице еврейкином видна, и бугристая темновишневая бородавка, проросшая черным волосом, и три гнилых зуба во рту, и черенок серебряный при свете люстр холодком поблескивает, и дикий хохот еврейский в ушах стоит. Вот и гадай, что бы этот сон странный означать мог?

Оно, конечно, пустяки всё — толкование снов! Страхов-то как-никак по-французски учился. Ему ли о снах тревожиться да смысл их сокровенный угадывать?.. Однако очень уж необычный сон. И такой яркий, что, может, и не сон вовсе!..

И целый день потом Страхов ловит себя на том, что все о сне своем думает и даже дознание без интереса ведет. Вечера с нетерпением дожидается, когда учитель Петрища придет и можно будет — не всерьез, конечно, а так, между прочим, смехом, как анекдотец забавный, — про сон ему рассказать.

Вечером, как обычно, пришел Петрища. Из книги своей почитал про еврейские злодеяния, потом самовар на столе появился. Страхов предложил гостю в картишки перекинуться, и стали они вяло, без всякого азарта, играть в дурака.

Страхов-то не прочь бы в настоящую игру учителя втянуть, но тот давно уже предупредил: «В денежные игры не играю!» И таким серьезным значительным движением белой, почти девичьей, руки огладил бороду, что Страхов возражать не посмел, а только спросил уважительно:

— *Принсип?*

— *Принсип*, — подтвердил Петрища; и тихим вкрадчивым голосом пояснил:

— Потому что от наших игр азартных в выигрыше одни жидаы бывают.

— Как так? — не понял Страхов.

— Обыкновенно, господин следователь! — Петрища еще раз со значением огладил бороду. — К примеру, играем мы с вами. Ежели вы выиграете, стало быть, я проиграю, а я выиграю — вы проиграете. Какая от того выгода христианству? Только из одного христианского кармана в другой переложим!

— А евреям какая выгода? — все еще не мог уразуметь Страхов.

— Ну, как же! К примеру, вы проигрались, а платить нечем. Карточный долг — сами знаете... А вот кто, скажите, такое понятие нам о карточном долге внушил, что не заплатить его хуже всякого иного позора? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом или нет? Не задумывались, так я вам скажу. Это понятие от масонов идет, а масоны давно с жидами стакнулись, и любую погибель на христиан ради евреев готовы наслать! Вы проигрались, и скорее к жидау бежите: и часы швейцарские, и цепочку золотую, а мало, так и мундир свой и саму кровь свою христианскую заложите, чтоб только долг карточный заплатить... Вот и выходит, что христиане играют, а жидаы одни с той игры наживаются.

Сильно озадачен был Страхов, напуган даже петрициным рассуждением. Как мог дознаться учитель про мундир, что он Янкелю-скорняку закладывал?.. Видать, свои люди есть у него и в Витебске, а может стать, и в самом Петербурге... Ох, не прост Петрища с его простецкими сказочками про жида вороватого. Совсем не прост Петрища! Не из тех он, с кем следовало бы ссориться Страхову, нет!

Не приведи Господь занять такого врага. Куда лучше числить его в друзьях.

И уважение великое к учителю поселилось с того дня в душе Страхова, и какая-то неодолимая к нему тяга, и легкий страх, и вера безотчетная, что нету для тихого учителя неразрешимых загадок и тайн.

Ну, вот, они вяло в дурачка перекидываются, Петрища белыми, почти девичьими руками колоду тасует, а Страхов, как бы шутя, как анекдотец пустынный какой, сон ему свой рассказывает.

— Ну? Что скажете на это, господин учитель? Ежели бы я мужиком суеверным из какого-нибудь медвежьего угла был, то, право слово, мог бы подумать, что сон сей вещей и сокровенный смысл в нем содержится...

Тут Страхов осекся. Заметил вдруг, как переменился в лице всегда спокойный Петрища, как застыли над столом, остановив сдачу карт, белые, почти девичьи руки.

— Не тронь мужика! — нехорошим сдавленным голосом прохрипел Петрища и таким тяжелым взглядом уперся в глаза Страхову, что тот захлопал, захлопал ресницами, открыл пухлогубый рот свой, чтобы что-то ответить, да так и закрыл его, не проронив ни слова.

— Извольте суеверным мужика называть, — овладев собой и возобновив сдачу карт, обычным неторопким вкрадчивым тоном заговорил Петрища. — С презрением извольте о мужике отзываться, — Петрища открыл козыря, перекрестил его колодой, поднял свою кучку карт и развернул их веером. — А ведь понятия эти о мужике, господин следователь, от масонов да от евреев идут. От них все эти понятия. Я изрядно середь народа потерся и, смею думать, знаю-с народ наш. И то убеждение имею, что народ, — тут Петрища неожиданно голос возвысил и даже нежный свой белый палец с маленьким детским ноготком высоко над головою поднял, — народ наш, господин следователь, он великую мудрость в себе хранит и многому нас научить может. Он, народ то есть, потому нам таким темным и суеверным представляется, что оторвались мы от народа и стали далеки от него. Всякими масонскими влияниями мы отравлены и народа своего понять не хотим. Вы и меня можете суеверным считать, но я от народа своего не отрекусь, я завсегда буду с народом и всякому то прямо скажу! Ежели простой мужик в вещи сны верует, то и я в них верую и всегда верить буду и по разумению моему буду их толковать!.. Ваш ход, господин следователь. Принимаете что ли десятку или козырем побьете?

— Да... нет... господин учитель, — растерялся Страхов, — вы не так меня поняли. Ежели народ, так я тоже завсегда... Просто шутка была моя, а ежели по совести вам сказать, так мне как раз и хотелось спросить, что вы про сон сей странный скажете.

Задумался тут надолго Петрища, лоб сморщил, бороду все нежной белой рукой оглаживает...

— В самое сердце, говорите, государево нацелила нож старуха?.. — деловито переспросил он. — И никто, кроме вас, не видел?.. А государь до последней минуты все ангельской улыбкой своей улыбался?.. Что ж! Полагаю, что сон ваш действительно вещий смысл имеет, и понимать его так надобно, что, ежели России суждено погибнуть, то гибель та придет незаметно, и не иначе, как через евреев... Вы снова не в масть кроете, господин следователь. Что-то рассеяны вы сегодня, опять останетесь в дураках.

Глава 11

О х, и терпение же у следователя Страхова! Сам себе умиляется он и удивляется. Ангельское просто терпение!

Оно ежели по закону, то шугануть бы давно обеих доказчиц! Но тогда... Кто же государя-милостивца и Россию-мать от еврейских злодейств спасать будет? И с чем в Витебск ворочаться, что доложить благодетелю-князю? Прощай что ли, карьера, награды, прощай, генерал-губернаторская дочь? И все из-за проклятых жидов?

Да ради наград разве старается Страхов? Нет! Видит Бог, он старается не ради наград и даже не ради губернаторской дочки. Ради благодетеля своего старается Страхов. Потому как он, благодетель, самим государем над тремя губерниями поставлен и любого, ну, просто всякого в губерниях этих может на ноготок положить, другим ноготочком прижать да кишочки и выпустить. А он, ангел, кишочек не выпускает! Он о наградах для подчиненных своих печется! И не потому вовсе, что Страхова в зятя себе наметил; он по доброте своей ангельской печется! Это же понимать надобно.

Взять хоть евреев. Как недород великий случился в 21-м году и пухнуть от голоду стали крестьяне, а в 22-м году опять недород, и совсем уж худо стало народу, и бунта мужицкого в любой день можно было ждать, так вспомнила власть, что в бедах мужицких не кто иной, как евреи повинны. Потому что почти в каждой деревне шинок стоит, а на дорогах корчмы, и так уж исстари повелось, что хоть корчмы и шинки те помещикам принадлежат, однако же многие из них евреи в аренде содержат. А крестьяне вино в тех шинках пьют, разоряются, да спиваются, да от трудов производительных отваживаются. Ну, и решила центральная власть, ради блага народного, давнее свое намерение исполнить да евреев всех из сел в города да местечки выселить.

Князь Хованский, конечно, с радостью бросился приказ тот поскорее исполнять, да не просто так, а со всем своим рвением, с размахом, потому что кто же не ведает, как люто не любит князь нехристей. Двадцать тысяч семей в три месяца из домов своих выпихнуты были, целые уезды очистил от евреев князь! И что же? Семьи-

то еврейские все большие, в каждой жидов, жидовок, жиденков и жиденят видимо-невидимо, и как запрудили они городские площади да базары, как стали там голодать да холодать, да как моровые болезни среди них пошли, да детишки помирать начали, так дрогнуло сердце ангела-князя, опечалилось светлое его чело, и он, добрая душа, сам центральную власть запросил, чтобы выселение остановить, потому как евреям от этого печаль одна, и смерть, и разорение, а крестьянам тоже никакого прибýtка, а напротив, одни неудобства и тяготы дополнительные, потому как, оказывается, у шинкаря-еврея мужик не только вино, но и соль, и гвозди, и топор, и прочий всякий инвентарь мог купить, теперь же за всем этим ему в город надобно ехать, два-три дня, а то и неделю терять, так что от трудов своих крестьянских он еще более отваживается; ну, а кто вино хлестал без всякой меры, тот все одно его хлещет, ему разницы нет — еврей или свой брат христианин за стойкой поставлен. Да и то сказать: не силой же арендари-евреи вино в него вливают; ежели он к вину привычен, то всегда зелье себе раздобудет. Народ-ить не даром говорит: свинья лужу все одно сыщет.

Так и остановилось выселение то. По всеподданнейшей просьбе самого генерал-губернатора. Вот он какой, добрая душа христианская, князь-свет Хованский!

А евреи, еврей-то за беспримерную ту доброту чем отплатили? Младенца Федора, солдатского сына замучили! Вот вам благодарность жидовская. Нет, Страхов не жид неблагодарный и не масон, чтобы благодетелю своему из-за этих душегубов не угодить! Не допустит Страхов, чтобы через него светлое чело благодетеля князя омрачилось.

— Скажите-ка, Марья Терентьева, может быть, у Берлиных тоже христианская прислуга имеется?

— Нет. Теперича нету, — отвечает Марья.

— А раньше — когда ребеночка замучили — была?

— Тогда была, батюшка... Девка служила у них, Прасковья. Прошлый год замуж вышла за соседа их, шляхтича Козловского — у его, знаешь, шинок аккурат возле Миркиного дома стоит. Вот он, муж то есть, ей служить запретил, потому как теперича она шляхетка и служанкой быть ей невозможно, особливо у евреев. И то сказать, ей в шинке своих дел достает... А пока в девках ходила, служила у Берлиных.

— И что же эта шляхетка Прасковья Козловская, — терпеливо выслушав все подробности, спросил Страхов. — Тоже, небось, ребеночка мучила?

— Знамо дело, — соглашается Марья. — Вместе со всеми в склепе ребеночка мучила, и через полтора часа он помер.

— Постой, постой, — морщит свой курносый носик Страхов. — Мы же вспомнили, что ребеночек умер не в склепе, а вынесли его из дому еще живого. Поэтому, понимаешь ли, Марья, поэтому, — Страхов жмет на последнее слово, — ему рот и нос шарфом закрыли да на затылке узлом завязали, и он по дороге задохся.

— Ну, я уж и не знаю, батюшка, чего мы вспомнили, а чего забыли, — ворчит, хлопая опухшими глазами, Марья.

— Ладно, это мы с тобой отдельно припомним. А теперь ты только про эту, Прасковью Козловскую, покажи. Стало быть, ты утверждаешь, что она тоже в мучительстве участие принимала?

— А чем же она лучше нас с Авдотьей, чтоб в чистеньких-то ходить.

К Прасковье Козловской Страхов приступил испытанным уже способом, однако упорной оказалась Прасковья. С какой стороны ни подъезжал к ней Страхов, сколько раз ни пускал в дело свой маленький кулачок, одно твердит: нет, и баста!

Помнит всю ту святую неделю — как не помнить! Никуда она в ту неделю не отлучалась, и из хозяев никто не отлучался. Гость у них жил дня три-четыре, Иосиф Гликман с сыном. Пожили и уехали на собственной бричке. А больше никто из посторонних в доме не появлялся. Ни из евреев, ни из христиан. И ребеночка никакого не было.

— Так ты жидов выгораживать! — шумит на нее Страхов, маленький кулачок свой под нос ей подсовывая.

Но — куда там! Уперлась упрямая шляхетка!

Ладно! Посидит в остроге — небось одумается. Только, с другой-то стороны, зачем ему, Страхову, ее признания? Тут две покладистые бабы так путают все, что голова кругом идет, а ежели третья, упрямая, еще путать станет?

Задумчив стал следователь, рассеян. Даже книгу ту польскую, что учитель Петрища ему кусочками переводит, невнимательно слушать стал. Даже рассказы Петрищевы про жида вороватого не веселят теперь следователя. Ведь если так дело дальше пойдет, то не получить ему дочери губернаторской, чинов, наград, не танцевать на петербургских балах. А главное, благодетеля своего тогда сильнейшим образом огорчить придется!

Вот и слушает вполуха следователь Страхов учителя Петрищу, губы пухлые нервно покусывает, волосики свои, всегда так аккуратно один к одному прилизанные, пятерней лохматит.

— Может, случилось что у вас, господин следователь? Что-то вы стали на себя не похожи, — вкрадчивым голосом спрашивает Петрища.

Не случилось! Именно, что ничего не случилось! Две бабы разнюхивают, а третья и вовсе молчит... Как же ему, Страхову, преступников уличить!

Выслушал учитель следователя со вниманием. Задумался, и, ничего не сказав, откланялся раньше обыкновенного, даже чай пить не стал.

Злость тут Страхова охватила великая. Забегал, заметался по комнате Страхов, словно зверь в клетке. Так вот ты кем оказался, учительшка паршивый. Сам заварил кашу, сам советами да книгой своей поганой потчует, а как осечка малая, — сразу в кусты!.. А туда же — *принсип!* «Я завсегда с народом!» Да, может, в этом и есть самое хитрое масонское притворство! Может, жида тебя подкупили, чтоб ты врагом их прикинулся, следователю в доверие втерся, книгу ему о еврейских злодействах переводил, а сам все дело запутывал... Берегись у меня, учитель; думаешь, мне не ведомо, что это ты подговорил давеча Марью Терентьеву ложную бумагу государю подать!..

Однако же зря грешил Страхов на учителя Петрищу: тот за свой *принсип* крепко держался. На другой же вечер к Страхову снова пожаловал, да не один, а такого огромного детину с собой привел, что тот сразу всю комнату собою заполнил, аж тесно в ней стало.

— Вот, — говорит Петрища следователю вкрадчивым своим голосом, — рекомендую. Маркелл Тарашкевич, священник, мой большой друг. Давно уж надо бы вас познакомиться, да я в том опасении был, что не найдете вы общего языка, потому как вы, господин Страхов, православный, тогда как отец Маркелл — униатского исповедания. Однако в том и слабина наша, что мы, христиане, между собой сговориться не можем, евреи же все всегда заодно. Я полагаю, не то важно, что нас разъединяет, а что объединяет, и все мы — православные ли, католики, или униаты — все мы супротив злодейств жидовских должны друг за дружку держаться. Отец Маркелл может многим быть вам полезен.

— Очень рад, — сухо проговорил Страхов и чуть не взвизгнул от боли, так крепко сдавил его руку богатырь-священник. — Прощу к столу, господа. Человек! Ставь скорей самовар!.. А, может быть, чего существенней желаете по случаю знакомства? — Страхов неуверенно перевел взгляд со священника на Петрищу.

— Вы же знаете, — проговорил тот, оглаживая бороду. — У меня *принсип!*..

Священник Тарашкевич глыбой возвышался над столом, могучий торс его поддерживал не менее могучую голову с крупным мясистым носом и широкой разделенной надвое бородой. Чай пил он смачно, громко хрупая сахаром и дуя в блюдце, которое в огромной его руке казалось игрушечным.

— Я, — гудел густым басом священник, — человек прямой, льстивых слов говорить не умею и потому так скажу вам, господин следователь: не таким путем надобно вам идти! Другой подход употребите. Помните, что хоть и преступницы, смертоубийцы те бабы, однако же христианские души. А Христос велел нам заблудших овец жалеть и кротостью на путь истинный наставлять. Ласковым обхождением да хорошим продовольствием вы их скорее к себе расположите. А главное — в храм Божий почаще их посылайте, для священнического моего увещевания... Ибо хоть они и признались в злодействах своих, однако полагать надобно, что не в полной мере еще раскаялись. Кого-то они выгородить хотят, утаить хотят от вас правду, потому и лгут. Отсюда несогласия в их показаниях. А ведь им души свои грешные спасти надобно! Кому же, как не мне, пастырю духовному, и объяснить им, что Христос к тем только милостив, кто в грехах своих кается до самого донышка и всю чистосердечную правду показывает...

Выслушав все это, Страхов неуверенно посмотрел на Петрищу.

— Господин Тарашкевич священническим увещеванием к раскаянию будет их побуждать, — пояснил Петрища вкрадчивым голосом, — а вы очными ставками ложь их уличите и постепенно к согласным показаниям приведете. Вместе-то мы вернее дело подвинем.

— Мысль неплохая, да ведь бабы-то православные. Хорошо ли их к униату на исповедь посылать? — неуверенно возразил Страхов.

— Э, господин следователь! — забасил на это Тарашкевич. — До щепетильностей ли тут! Правильно наш друг господин Петрища объясняет: униаты мы, католики или православные — это мы промеж себя разбираться будем. А перед евреями мы все христиане и вместе держаться должны. Если православные бабы вместе с евреями ребеночка резали, так неужто они передо мной, пастырем христианским, не откроются и не покаются только потому, что я униатского исповедания? Предоставьте уж мне о том заботу.

Долго думал Страхов о предложении отца Маркелла, поразному в голове своей поворачивал. Не так просто оно получалось, как хитрый Маркелл рисовал. Непокорство униатское видам прави-

тельства ощущалось во всей губернии, и сколько хлопот с униатами, коих власть, их же блага ради, старается от пагубного папского влияния отгородить, — про то Страхов еще в Витебске знал.

Униатский храм Святого Ильи, в коем отец Маркелл службы служит, самый почитай величавый храм в Велиже. Колоннами стройными украшен в классическом стиле, а внутри столько статуй, позолоты да всякой роскоши, что в глазах рябит. Две головы собора с ажурными крестами в такую высь вознесены, что не только во всем городе, но и далеко за лесом видать... А заложен сей храм был в том самом году, когда земли эти от Польши к России-матушке отошли, и уж неспроста, конечно, совпадение это. Показать хотели униаты России, что, мол, кесарю кесарево, а Богово загребушей рукой не трожь. Командуйте, мол, нами по-питерски, ежели ваша сила взяла, а в души наши не лезьте — они пуще прежнего теперь к римскому святому престолу устремлены. С тех самых пор и идет слышная война по всему краю. Начальство всякими правдами и неправдами православие старается утвердить, а униаты с католиками правдами и неправдами тому препоны чинят: не однажды и до открытых бунтов доходило дело. В Велиже хоть бунтов не случилось, зато скандал был великий, когда на деньги, отпущенные для возведения православного храма, городские власти построили костел. Осерчало начальство, городской голова под суд угодил, и не было ему снисхождения, да ведь дела тем не поправишь! Так и осталась на весь Велиж одна православная Николаевская церковь, да такая захудалая, прости, Господи, — хуже еврейской синагоги, коя, по строгим правилам, от века установленным, не должна быть выше или обширнее соседствующих христианских храмов, дабы пышным видом своим чувства правоверных не оскорблять... Словом, было над чем помозговать Страхову! А вдруг за предложением паписта какая-нибудь иезуитская хитрость таится, чтобы использовать жидовское дело супротив видов правительства?

Не отважился Страхов столь важное дело самочинно решать, утром же безотлагательно эстафету князю Хованскому отрядил.

Ответ воспоследовал без проволочек: «Молодец ты, Страхов, — писал князь, — что бдительность проявляешь и ухо востро держишь не только супротив жидов, но и папистов. Всегда так поступай и со мной советуйся, потому как я тебе благодетель есть и без отеческого наставления никогда не оставлю. Действуй, голубчик, благославляю. Для уличения евреев любые средства пригодны, а потому валяй, посылай баб к священнику. Лишь бы толк от того был, а православный он, или униат, или дьяволу самому служит, — тут не велика разница».

Глава 12

Вольготно живется Марье Терентьевой! Славно живется. Зима на дворе лютая, морозы трескучие, снега сыпучие. Как ни добр народ в Велиже, а несладко бывало Марье зиму зимовать. То приютит кто на ночь, а то и не приютит — вот и мерзни где в чужом сарае или вовсе на церковной паперти. А в остроге тепло, сухо, своя коечка. И образок в углу с лампадкой. Окошко, правда, невелико, да зимой все одно солнышко рано садится. Еду Марье приносят сытную, горячую; отродясь Марья такой еды, да чтоб не раз-два купчик загулявший какой угостил, а чтоб каждый день Божий — такой еды Марья Терентьева отродясь не едала. Вон уж и бедра ее круглые еще сильнее округлились, и грудь налилась так, что платье старое цыганское все расплзлося на ней. Шибко обеспокоилась о том Марья, да следователь Страхов ей новое платье справил — это, говорит, подарок тебе от меня, Марья; попростому, говорит, по-христиански прими.

Следователь очень даже с Марьей приветлив да ласков. А после хорошего допроса, когда она, Марья, особенно хорошо про злодейство еврейское докажет, следователь ей чарочку царской влаги присылает. В воскресенье Марья в церковь идет. А то и в будние дни следователь ее к священнику посылает:

— Иди, — говорит, — Марья, покайся пред Господом; душу, — говорит, — Марья, тебе спасать надобно.

Всегда Марья в церкви ходить любила.

...Не спешен батюшкин обход, мирно покачивается кадило, ладан ноздри щекочет, лики Божьих угодников грустно и задумчиво со стен глядят, и так умиленно на душе у Марьи, и робость в душе, и радость тихая, и отчего-то слезы из глаз выкатываются. А пение, пение церковное как убажает душу! До жути хорошо бывало Марье в церкви.

Теперь-то следователь Страхов из острога не в православный, а почему-то в папистский храм Марью посылает, ну, да ему, следователю, лучше знать. Теперь, после заточения-то, еще жутче, еще сластнее Марье в храме Божиим. Священник статен, важен,

высок, голову с крупным мясистым носом прямо держит; взгляд у него вдумчивый, строгий, борода на две половины разделена, широкими волнами с лица струится. Боязно Марье священника и сладко ей со священником.

— Молись Господу нашему, Марья! Молись, чтоб помог он тебе покаяться и всю правду про злодеяния жидовские доказать. Благодарю Господа, потому что отличил Он тебя, рабу недостойную. Ты думаешь, Марья, потому ты в злодействе том старалась, что евреи тебя завлекли? Нет, Марья! Ничего мы не делаем без повеления Господня. Даже волос не падает с головы без Господнего повеления! То Господь наш Иисус Христос тебя, рабу недостойную, отличил и на подвиг христианский наставил! Для того ты в том деле участвовала, Марья, чтоб злодейство через тебя открылось. Не откроешь, утаишь что-нибудь, — значит, ослушалась ты Господа, и примешь за то адские муки. А откроешь все, покаешься в грехе своем до конца, — наградит тебя Господь! И кровь младенца невинного простит, и жизнь твою блудную простит тебе, и вознесешь ты на небеса, и сам Господь тебя поцелует. Молись усерднее, раба недостойная Марья, да хорошенько все про злодеяния жидовские вспоминай и следовательно доказывай...

Зимний день короток, сумрачно в церкви, стоит батюшка огромный, что сам Бог Саваоф, подсвечник в руке держит. Колышется пламя свечей от речи его басовитой, тени неслышные от колыхания того мечутся. Распростертая ниц лежит Марья Терентьева, раба Божия недостойная; слезы горячие, душу просветляющие, из глаз ее воловьих бегут, слипаются длинные ресницы, словно крылья упавшей в воду бабочки, молитвы смиренные из уст, словно мед густой, истекают.

А у выхода Филипп Азадкевич Марью Терентьеву поджидает. Сюда из острога ее проводил и обратно в острог проводит. А по пути все ей шепчет, все шепчет, все растолковывает гнусавым своим голосом, с присвистом и натугой из широкого приплюснутого его носа выталкивающимся. Про злодеяния жидовские шепчет сапожник, как младенцев они хватают, да в подвале содержат, да как потом кровь из них источают. Тут ведь не просто — зарезал, и все! Ты уразумей, Марья: они его в бочку сажают, а бочка на веревках подвешена, и два часа в той бочке его качают; а потом острым железом колот, а кровь источающуюся в серебряную чашу собирают.

Глянет Марья на сапожника, на плюгавую фигурку его, да на всклокоченную бороденку, да на нос приплюснутый, и только фыркнет презрительно. Бочка, бочка! Пристал опять с этой бочкой. Что ж она, Марья, совсем без ума — про бочку ту не уразу-

мать? Только следователю-то подробности подавай! Тут на ходу соображать надо. И чтоб в полной точности было все, а то Авдотья потом иначе докажет. Да и сама Марья помнит что ли, что месяц али два назад сказывала? Ну, да у следователя записано, где надо, он сам поможет.

— Терентьева Марья! Вы показывали, что вы и Авдотья Максимова, по поручению евреев, труп мальчика Федора из дома вынесли и бросили его, по их же поручению, в колодец. Между тем, из протокола дознания видно, что труп был найден в лесу. Как вы объясните такое несовпадение?

Марья молчит, долго хлопая опухшими глазами.

— Может, евреи приказали вам в колодец бросить тело, а вы передумали да положили в лесу? — помогает Страхов.

— Знамо дело! — обрадованно соглашается Марья. — Они велели в колодец, а мы передумали и в лес отнесли.

— Так! — доволен Страхов. — А вы, Авдотья Максимова, подтверждаете это показание или нет?

— Ась? — испуганно переспрашивает Авдотья, тараща бессмысленные поросычьи глазки. — Подтверждаю, батюшка, все подтверждаю!..

— Но вы, Авдотья Максимова, показывали, что самолично с двумя евреями труп отвозили в бричке, а Марья Терентьева утверждает, что вы с нею вдвоем отнесли труп пешком. Где же тут правда? — кричит Страхов раздражаясь.

— Как она говорит, так и верно, — торопится угодить Авдотья, но пуще хмурится следователь.

— Однако в протоколе записано, что на дороге след от брички остался. Бричка на месте том остановилась, а потом развернулась да назад в город уехала. Как прикажете это понять?

— Ась? — выкрикивает Авдотья, и глазки ее поросычьи беспомощно перебегают со Страхова на писаря, с писаря — на Марью Терентьеву.

— Так и понимай, батюшка, как написано, — на выручку приходит Марья Терентьева. — Ить мы его там положили, назад идем, да ту бричку и встречаем. В ней Иосель Мирлас и Хаим Хрипун. Их послали проверить, верно ли мы все исполнили. Они до места того доехали, посмотрели на ребеночка и назад воротились, обогнали нас. Когда мы в синагогу пришли, так они оба уже там были.

Писарь со слов этих даже пером скрипеть перестал. С недоумением глядит на следователя. «Экая баба бесстыжая, — дума-

ет. — Вот уличит ее сейчас следователь! Ведь только что говорила, что евреи приказали в воду бросить младенца — зачем же им в лес ехать, чтобы проверить, выполнено ли приказание?»

— Так, хорошо, Марья, — к изумлению писаря одобряет Страхов. — Теперь еще с одним пунктом надобно нам разобраться. Ты показывала, что евреи младенцу уд детородный отрезали. А лекарь Левен, обследовавший труп, ничего о том в протоколе не писал. Он, напротив, указал, что на кончике уда имеется темное пятнышко, как бы кровоподтек, учиненный, по его предположению, натертостью ляжками. Из всего этого полагать надобно, что уд был на месте. Я по сему пункту дополнительный допрос снял с лекаря. Он не отрицает, что темное пятнышко то могло и не от натертости происходить, а от другой какой-нибудь причины. Теперь отвечайте, Марья Терентьева, продолжаете ли вы утверждать, будто уд детородный был полностью отрезан евреями, или, может быть, они только кожу с кончика срезали, отчего то пятно и могло произойти?

— Кожицу! — хлопает опахалами Марья. — Я теперь вспомнила: только кожицу.

Марье-то хорошо. Живется ей в остроге вольготно. Да только следователь Страхов торопит.

Нервничает следователь! Осточертел ему Велижград, да и невеста, сообщают дружки, не шибко без него скучает. Хлыщ какой-то столичный в Витебске объявился, целые дни в губернаторском доме торчит, княгиню-старуху да княжну питерским обхождением ублажает. Того и гляди, уведет из-под носу невесту, пока Страхов возится тут с евреями да Марьей Терентьевой.

Опять же князь Хованский, будущий тесть, донесений о ходе следствия требует, а что доносить прикажете? Что две христианки сознались, да третья все упирается?

Что эти две, несмотря на знатное продовольствие, одяние, очные ставки и увещевания Маркелла Тарашкевича, в показаниях путаются?

И что евреи все еще на свободе разгуливают?

Крепче пришлось Страхову приступить к Прасковье Козловской. Сколько батистовых платочков извел на обтирание маленького своего кулачка, так сам со счету сбился. Но Страхова не переупрямишь. Призналась-таки Прасковья!

Да, бывали у хозяев ее в ту Пасху Марья Терентьева да Авдотья Максимова. Был и мальчик белокурый, плакал под дверью, кулачками глазенки тер. А евреев перебывало в доме в те дни видимо-невидимо...

Вот все, что показала Прасковья. Большого, как ни бился, не удалось вытащить из нее следователю. Про то, что с тем мальчиком сделали, говорит, ей неизвестно.

Ну, это пока неизвестно!

Максимова, глухая тетеря, тоже не знала ничего, а потом вон как язык развязался! Придет время, упорная шляхетка все покажет, что надобно, — в том следователю нет причины сомневаться, потому как увяз коготок.

Глава 13

А пока и этого ему хватит. Можно, можно теперь брать евреев! Доволен Страхов, одна только у него неудача. За три года, пробежавших со времени того злодейского происшествия, главная виновница-то помереть успела. Нет уж старухи Мирки, отдала Богу душу, или кому они там, евреи, души свои отдают! Не сподобился Страхов посмотреть на злодейку. А очень хотелось! Почему-то глубокую веру имел следовательно: Мирка эта — точь-в-точь старуха из сна, что с ножом на государя бросилась. С злыми водянистыми глазами, крючковатым носом и отвратительной бугристой бородавкой на правой щеке. Не довелось удостовериться. То-то было бы доказательство против евреев! Выскользнула-таки из рук старая ведьма.

Ну, ничего, дочь Мирки Славка Берлин жива, крепкая еще еврейка. Под замок ее!

И Ханну Цетлин — под замок!

И Ицку Нахимовского, Абрама Глушкова, Иоселя Турновского. Первый торговлю свою сеном имеет да в доме Берлина помещение для лавочки снимает: второй — лавку его сторожит, а третий — сторожем у самих Берлиных служит. На этих троих доказчицы ничего не показывали, не за что их арестовывать, ежели по закону. Да ведь они-то и нужнее всего Страхову!

Берлиным терять нечего: до конца будут отпираться — сие и младенец тот понял бы, кабы Богу угодно было в живых его оставить. А с этими надо по-умному обойтись! Поначалу пугнуть арестом, а потом объяснить, что судьба их от них самих зависит. Покажут на Берлиных так, как Марья с Авдотьей, — значит, невиноватые. А запираются будут, значит, и сами в том деле участвовали — бабы-то мигом про то припомнят. От Страхова не ускользнешь! Ежели только на тот свет, как старуха Мирка...

То-то страху евреям от Страхова, то-то радости сапожнику Азадкевичу!

Ходит Филипп по городу веселый, трезвый; мстительный огонь в желтых нездоровых глазах, ноздри приплюснутые крыль-

ями хищной птицы по лицу раскинута, жиденькая бороденка сильнее обычного всклочена, и оттого плюгавая фигурка филиппова задиристый вид имеет, точно у драчливого петуха.

Филипп гнусавит народу про злодейства жидовские.

Обступает Филиппа народ, головами качает, речам его изумляется, а пуще всего — трезвости его дивится. Ох и любит же грешный человек гульнуть, и всех дурнее бывает в гульбе. Такое выкаблучивает — полгорода смотреть на его выкрутасы сбегается. Аж сечен был кнутом за буйства свои по приговору суда! Это же уметь надо отличиться, чтобы из всех велижских бражников выделиться и под суд за пьяное буйство угодить!

Слушает народ гнусавые Филипповы речи, да не шибко им доверяет. Знает народ, что дурной человек Филипп и шибко на евреев озлобленный.

Только ведь и учитель Петрища то же самое народу сообщает. А у него, у учителя, какие могут быть счеты с евреями? Один голый *принсип!*

Уважает народ учителя за грамотность его, за гладкость речи, а пуще всего книгу его уважает, потому как в книге зря не напишут.

То-то затаились евреи по домам своим! То-то лавки еврейские на базаре закрыты! Носу на улицу не высовывают, ставни затворены, даже калитки все на запорах. И тишина, мертвая зловещая тишина на еврейских улицах. Ну, жиды проклятые, вороги христианские — пробил час, нашлась и на вас управа!..

Страшно евреям, сиротливо евреям, беззащитно евреям, и не ведомо, чего больше бояться им — буйства ли толпы неразумной, или ареста страховского. Один только защитник у евреев теперь остался...

Задами, задами, чтобы не повстречался кто ненароком, пробираются они к Большой Синагоге. Народу в ней — яблоку не упасть. Плечом к плечу, грудь к спине стоят пейсатые, бородастые, бархатными шапчонками покрытые, в белые, словно саван, талесы облаченные. Потолок в синагоге высокий, сводчатый, золотыми виноградными лозами разрисованный. В бронзовых семисвечниках свечи восковые горят, ровным светом заповеди Божии освещают. Служки свитки со священными текстами несут, сквозь плотную толпу протискиваются, слепой кантор Рувим соловьем заливается, голос его рвется вверх, под своды, сквозь своды, туда, к престолу Всевышнего, и подхватывают пение нестройные голоса.

Господь наш есть Господь Един. Наш долг славословить Владыку всемирного, воздавать славу Мироздателю за то, что он не создал нас язычниками и не уподобил нас кочующим племенам; что не приобщил нас к их уделу, к судьбе скопищ их. Мы преклоняем колени и поклоняемся в исповеди перед Царем Царей, Пресвятым — благословен Он! Который раскинул небеса и основал землю. Чей величественный престол на горних небесах и пребывание его могущества на высях превыспренных. Он Бог наш, другого нет: воистину Он Бог-Царь наш, никто иной. И посему мы уповаем на Тебя, Господи, Боже наш, узреть вскоре славу могущества Твоего; что сотрешь с лица земли всякое изуверство, и идолопоклонство исчезнет совсем; что усовершенствуешь мир царствованием могущественным Твоим; что всякая плоть будет звать к имени Твоему и все злодеи обратятся к Тебе. Боже, помоги мне; Царь, отзовись нам, когда зываем к Тебе! Ты — моя защита, Ты охраняешь меня от врага, окружаешь меня песнями избавления. Молю: силою величия десницы Твоей освободи нас из оков; прими гимны народа Своего, укрепи нас, очисти нас, Всемогущий! Обереги исповедующих единство Твое, как зеницу ока; благослови их и умиловись над ними; скажи им непрестанно правду Твою. Всесильный, Святой, обильной благостью Своею управляй общиной Своею. Единый, Всевышний, обратись к народу Твоему, помнящему святость Твою. Приими мольбу нашу, услышь вопль наш. Ты ведь ведаешь все сокровенное.

Крепнут голоса, распрямляются согбенные спины, выше поднимаются пейсатые головы, светом начинают лучиться печальные выпученные глаза. Эх, сыны Иаковлевы, братья Израилевы! Не такие напасти насылал на свой народ Господь, но и спасал в годину трудную, чтоб славословили вы Его, Владыку Единого, царствие Его вечное, да заповеди Его священные исполняли. Ибо пребудет царствие Его во веки. Слушай, Израиль, Господь наш есть Господь Един...

Открываются высокие двери, гудящая толпа на улицу выплескивается. Это сходились они осторожно, робко, задами, чтоб на глаза не попадаться кому, а расходятся по домам открыто. Головы высоко подняты, бороды вперед выставлены, смело в глаза христианам смотрят. «Будет и на нашей улице праздник», всем видом своим говорят, «потому как Господь не отдаст народ свой на поругание».

И снова сомнение берет христиан. Ить ходят слухи по городу: не признают те евреи заарестованные за собою вины.

А эти, которые на воле пока, вовсе осмелели. Даже жалобу в Петербург накатали! Несправедлив, мол, следователь Страхов, склонился к суеверным предрассудкам через учителя Петрищу, да сапожника Азадкевича, да священника Тарашкевича, с коими частые свидания имеет. Надобно его от дела того отставить да другого следователя прислать!

Ах, евреи, евреи! Все-то вам жалобы строчить! Грамоте вы обучены, только не на пользу, видать, вам грамота пошла.

Разве не ведомо вам, евреи, что из Петербурга бумага ваша прямым ходом в Витебск проследует, к генерал-губернатору князю Хованскому, который ее тот же час самому Страхову переправит, потому как он Страхову покровитель есть? И лишь пуще прежнего осерчает следователь. Доклад благодетелю своему отпишет. Так, мол, и так, усердствую сверх всякой меры. Запираются евреи — это верно, так ведь то потому, что вера их бесовская дозволяет присяги любой отрицаться. Однако же, благодаря усердию моему и очным ставкам с доказчицами Марьей Терентьевой, да Авдотьей Максимовой, да Прасковьей Козловской все арестованные давно уже уличены в злодеянии, до окончания следствия самая малость осталась.

— Молодец! — вскрикивает князь Хованский, бумагу ту прочитавши. — Молодец, Страхов! Не зря облек я тебя своею доверенностью. Сейчас же всеподданнейший доклад государю отпишем — пусть знает самодержец всероссийский про усердие твое да про коварство жидовское!

Глава 14

Государь! Милостивец ты наш ненаглядный! Где улыбка твоя ангельская? Где ноготок твой розовенький? Мы ведь завсегда с превеликим нашим удовольствием приготовлены. Дозволь на ноготочек влезть да кишочки и выпустить. Дозволь, государь, не гневайся. Милостивец ты наш! Не давишь ты нас, негодников, ноготочком своим! Выслушиваешь ты всеподданнейшие доклады наши! Хоть и без улыбки ангельской, с нахмуренными бровями и взглядом свинцовым, а все же выслушиваешь, государь, и на ноготочке своем розовеньком кишочки наши не выпускаешь! Как тебя, милостивец, благодарить, не знаем, — вот в чем беда! Непокойно на сердце, ох как непокойно!

Не добром началось царствие твое, государь, так добром ли кончится?

Братан твой Благословенный все по монастырям душу спасал, а дела государственные совсем забросил. Смутьянов не раздавил, с наследством престольным запутал все, засекретил, да и почил в своем Таганроге. Ты-то, государь, про бумаги секретные знал, да убоился ты старшего брата своего: а ну, как откажется от секретного отречения своего и тебя же бунтовщиком-узурпатором объявит... А брат-то твой тебя убоился, государь! Вот ведь оно как получилось... Ты ему: «Ваше величество, ступайте царствовать!» А он тебе: «Ваше величество, ступайте царствовать!» Интеллигентно. Не то что в бозе почивший наистарейший ваш братец, по системе Руссо воспитанный: шарфик красненький папашке на шейку гусиную повязал — язык у папашки и вывалился.

Ты, государь, честь по чести, братцу своему присягаешь, а он, честь по чести, тебе присягает. Вот и проприсягали почти всероссийский престол! Ох и передрейфил же ты, государь, ох и сыграл же ты труса!.. Глазки-то твои державные, как у зайчонка затравленного, бегали. Ручки-то твои державные мелкой дрожью дрожали. Губы-то твои державные белее снега белого, что площадь Сенатскую запоршил, сделались... Вот как напужали тебя бунтовщики!

Ну, и наказал ты масонов примерно, по-царски ты их наказал! И главное — интеллигентно. Сам ведь ты их, государь, не судил. Сам ты лишь миловал.

Да ведь те, кого ты судьями поставил — они ж с полнамека волю державную понимать обучены! Министры судили, генералы, Сенат да Синод — все вошки мелкие, полосатенькие, орденами обвешанные. Отменно тренированный народ! Мигни только, и локотками, локоточками растолкают друг друга, чтобы поскорее на ноготок твой розовенький взлезть. Присудили они все, как надобно! Чтоб мог ты, государь, и милость свою показать и чтобы наиглавнейшие бунтовщики-супостаты твои из-под ноготочка твоего, не дай Бог, не выскользнули.

Один только нашелся умник из судей тех. «Мнение» особое накатал: нет, мол, в законах российских такого пункта, чтобы смертью кого ни на есть карать.

Эй! Умник! Подотришь-ка мнением своим! И прежнего государя все «Мнениями» одолевал, и на молодого насыпался. Пиши-пиши. Бумага — она все терпит! Ты в Англии делу морскому в безусой юности обучался, и с тех самых пор стукнутый ты этой Англией, как пыльным мешком. Ишь чего вздумал: государственных преступников по законам судить!

По закону-то нет у нас смертной казни — это мы и без умников разумеем. А вот по совести ежели! Государь-то над нами от Бога поставлен, а масонов, супостатов своих главнейших, он, значит, и на веревке не вздерни?

Нет, умник, у нас ить не Англия какая-нибудь, чтоб по законам жить! Разгневан государь — это ж уважить надобно. Сдрейфил государь — вот и надобно ему сатисфакцию (по-англицки-то говоря) получить. Не то всем нам худо будет. Или ты сам тайный масон и нарочно мнениями своими государя сердишь? Мы их на такую лютую казнь осудить должны, какую в наш просвещенный век и применить невозможно. Ну, а потом, по безграничной милости своей, государь медленное отрубание членов веревкой пеньковой заменить соизволит. Вот и выйдет! И милость от государя, и супостаты его в петлях задержаются.

Умник ты, умник английкий, а простых русских вещей не разумеешь! Ты все о том печешься, чтобы народ от пьянства отвадить и для того всю экономию государственную на английкий манер переключить. Нельзя, говоришь ты, пьянство в государстве искоренить, ежели основной доход для казны от продажи напитков происходит. Нельзя — это точно. Да надобно ли — вот вопрос! Того

ты, умник, не разумеешь, что питейной торговлей все больше жи-ды промышляют. Жида водку народу продают на многие тысячи, а детишки у них голопузыми бегают, потому как казна да помещики прибыль всю забирают. Народ водку жрет — казна государева полнится, и помещичье сословие, главная опора государева, богатеет. Виноватыми же кругом евреи выходят, и при всяком случае любое народное бедствие или несчастье есть на кого свалить... А тебе бы все на английский лад да на английский лад!

Это во «Мнениях» все можно. И торговлю преобразовать, и промышленность развить, и просвещение распространить в народе. А как прикажешь все сие исполнить, ежели веревки пеньковой — и той сплести не умеем. Слыхал, небось? Когда тех пятерых масонов вешали, так ведь трое оборвались! Не выдержала веревка российская... А ты говоришь — по-англицки! Да в Англии такое случись — о-го! А у нас не Англия какая-нибудь, у нас Россия-матушка. Веревка слабая, да зато дух тверд, как скала. Про обычай-то знаешь старинный: коль оборвался повешенный, значит, воля Божия на то — помиловать надобно. Но государь у нас без сантиментов. Перевесить велел, не моргнув глазом.

Крут государь наш молодой!

Только с супостатами кончил, как ему доклад всеподданнейший от князя Хованского, генерал-губернатора Смоленского, Витебского да Могилевского. Про младенчика, в Велиже замученного.

Ох, и осерчал государь, прочитав тот доклад! Вот оно, оказывается, что происходит! Все они, оказывается, заодно! Пока масоны открытый бунт против Господом данной власти устраивают, евреи тайно младенцев христианских режут!

И в самый корень, в суть самую устремил государь орлиный свой взгляд. Ведь ежели всякого, то есть просто любого может он на ноготке своем раздавить, так ведь это же значит, что все равны перед лицом государевым! Полное братство и равенство получается, и никакой, выходит, разницы между православным народом и нехристями погаными! Слыханное ли дело — такое якобинство в державе терпеть?

Должна быть разница, решил государь! И не думая долго, волею царскою отлучил евреев от самого Господа Бога. Так и начертал державной своей рукой император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Так и начертал: «В страх и пример другим все школы еврейские в Велиже опечатать и впредь до особого повеления не позволять служить Богу иудейскому — ни в самих тех школах, ни при них».

Так-то вот. Разговор у нашего государя короткий! Тело-то всякое он может раздавить или удавить — что еврейское, что христианское тело — тут, точно, полное равенство и братство наблюдается. Ан ведь душа еще остается! Раздавит государь тело, а душа на небо и упорхнет. Что ж! Христианская душа пусть упархивает: государь наш щедр и милостив, ему не жалко. А вот еврейская душа — нет! Ее он на небо пущать не желает. Пущай тут же и корчится под ноготком, аль под сапогом кирзовым. Сапогом, говорю, да прямо в еврейскую душу! Что? Съели, пархатые? Где Он, Господь ваш Единый, Творец неба и земли, мышцею твердой и рукою простертой выведший вас из Египта? Где Он, заключивший завет с Авраамом, Исааком, Иаковом и избравший вас, чтоб завет Его вы хранили и были Ему народом священников? Где Царь Царей, защищающий вас от врагов ваших? Заперт в опечатанной синагоге, цепью железной оцеплен, да стража к нему выставлена! Крепче, чем братья ваши в остроге, следователем Страховым заперт! То-то, как мыши в подвале, затаились вы по домам вашим, и тишина во дворах ваших, словно вымерли все.

А следователь Страхов-то как повелением государевым ободрен! Даже хлыщ столичный, что в Витебске вокруг невесты его увивается, — и тот перестал тревожить Страхова. Благодетель князь Хованский ведь от слова своего не отступится, особенно теперь, когда столь несомненное доказательство имеется, что сам государь все меры, Страховым принимаемые, высочайше одобрять изволит.

Ну, держитесь, евреи. Теперь-то следователь с вами все сделать может!

Операцию по закрытию молелен Страхов с городскими властями в строгой секретности разработал, обнаружив немалый стратегический талант. Главным в плане была внезапность. В один день и час, сразу во все молельни чины с подчинами нагрянули, чтоб не могли евреи успеть свои книги бесовские попрятать да по домам растащить или другие какие-нибудь предприимчивости предпринять.

А сверх того, в развитие, так сказать, Высочайшего приказа, Страхов строго-настрого запретил и по частным домам евреям для молений собираться. А так как не разберешь, для какой такой надобности они собираются, то и вовсе бывать друг у друга Страхов им запретил. Да приказал, чтоб и на улицах не собирались. И вообще — чтоб не останавливались на улицах. Идет еврей своей дорогой, так пусть себе и идет — это можно. А остановился — тотчас в участок его! Такие вот правила заведены были в Велиже.

И выполнялись со строгостями — Страхов о том особо старался.

Дом его евреи за три улицы обходить стали. А если случайно повстречают где, так словно таракашки, во все стороны разбегаются да во всякие щели прячутся.

Вот как круто поставил дело следователь Страхов!

Острог небольшой велижский, что на краю города, при Смоленском тракте расположен, давно уж заполнен арестантами. Так Страхов два дома по соседству со своим заарендовал на казенный счет, на клетушки разгородил да окна заколотить приказал, стражу выставил. Арестантов в клетках тех разместил — так-то удобнее дознание производить. А то — посылай конвой в острог да веди каждого через весь город. Народ, пока их ведут, сбегается, суматоха возникает — никакие строгости не помогают. Тут и записку легко передать, и словом перемолвиться. А так — все шито и крыто, и даже поздно вечером, попив чаек с учителем Петрищей да усладившись приятной беседой, можно подследственных навестить. Шибко приохотился Страхов к поздним таким навещаниям, и скоро весь город про них узнал, потому как вопли дичайшие раздаваться стали в ночной тиши. Обмирали евреи в домах своих, прислушиваясь к тем воплям. Кто посмелее, тихонечко к казематам подбирался, чтоб распознать, кого это из узников на сей раз удостоил посещением следователь. Крепко, видать, работал он маленьким своим кулачком.

Далеко за полночь возвращался к себе Страхов, раздевался до пояса, долго плескался у рукомойника, остужая разгоряченную голову и грудь, с наслаждением растирал тщедушное тело свое мохнатым полотенцем, услужливо подносимым человеком его Степаном, и как подкошенный валился в постель.

Только вот сон вещей чуть не каждую ночь снова и снова снится Страхову.

...Государь высокий, стройный, в блистательном мундире, среди сверкающего огнями, зеркалами, хрусталем зала стоит; мимо пары проносятся в лихой мазурке; веселье, смех, эполеты, бриллианты, веера, обнаженные девичьи плечи, и среди этого великолепия — старуха костлявая в грязных лохмотьях к государю подбирается, прямо в сердце его удар свой нацеливает, и никто не видит этого, один Страхов видит, да он словно приклеен к полу, и рот его словно зашит — ни шагу ступить, ни крикнуть, и только вкрадчивый голос Петрищи шепчет ему в самое ухо: «Ежели погибнет Россия, то не иначе, как через евреев».

Просыпается в поту Страхов, и все на том же роковом месте, где старуха ножом в сердце священное государево целит; да как

вдруг однажды рассердится на себя. Что за напасть, в самом деле! Пусть уж зарежет скорее костлявая ведьма священную особу, но муки же эти невозможно же каждую ночь терпеть.

«Будь что будет, а сон до конца досмотрю и от наваждения избавлюсь!» — сказал себе Страхов, решительно на другой бок повернулся, укутался с головой в одеяло да зажмурил глаза.

И заснул. И стал сон досматривать.

...Старуха нож к самому сердцу государеву приставила... «Ну, давай!» — торопит ее мысленно Страхов, боясь, что опять проснется и не досмотрит сна. «Жми, старуха, на нож свой, кончай скорей дело!»

Ждет Страхов: вот рухнет государь на пол всей священной тяжестью своей... Только — что это? Стоит себе, как стоял государь... А старуха к Страхову повернулась, зверскими глазищами на него глядит и длинным сухим пальцем ему грозит. Обомлел Страхов, чувствует, волосы его прилизанные на голове поднялись и шевелятся. Ясно ему, что греховные его мысли старуха знает и не миновать ему теперь погибели. Вот оно какое, жидо-масонское коварство! Это они нарочно сон ему такой подсунили, чтоб крамольные — противу особы государевой — мысли внушить. Сейчас старуха государя зарежет, а на него, как на сообщника, покажет и тем от велижских извергов удар отведет, потому как один только Страхов может в злодействе их уличить.

И ведь как точно рассчитали удар коварные иудо-масоны! И государя, и Страхова — одним разом...

Пока размышлял так Страхов и оплакивал уже участь свою, широченный рот старухин до самых ушей раздвинулся; нос крючковатый еще сильнее загнулся и острым концом своим в рот въехал; а глаза-то, глаза огромные, злые, студенистые, заискрились бесовским весельем.

Старуха Страхову подмигнула и давай хохотать, аж пританцовывает от хохота. Попался, мол, голубчик! Да пальцем длинным, сухим, негнушимся у головы своей вертит.

Рехнулся, мол, ты, братец, не иначе — рехнулся! А нож от сердца государева все не отымает, стерва, даже движения делает, будто хочет на него нажать и государя погубить. Приналяжет на нож старуха — душа Страхова в пятки упрыгает. А она пуще прежнего хохотать и пальцем сухим у виска, чуть выше бородавки темно-вишневой вертеть: «Дурак, мол, ты, дурак! Мне твоего государя священного и даром убивать не надобно!» Чуть начнет приходить в себя Страхов, а она опять будто на нож нажимает, пока необразил Страхов, что дразнит его коварная жидовка.

А как сообразил, она хохотать перестала, от сердца государева нож отвела, вниз опустила, да вдруг как полоснет серебряным черенком по священным панталонам государевым, как схватит свободной рукой священный уд детородный государев, да махом одним его и оттяпала... Повернула опять к Страхову зверскую свою рожу, язык длинющий ниже колен выпустила и, размахивая над головой священным удом государевым, бежать припустилась.

В этот самый миг Страхов дар речи обрел и закричал:

— Лови ее! Лови! — а ноги все еще приклеены, сам сдвинуться не может.

Тут суета поднялась, вопли, все кинулись старуху ловить, один только Страхов стоит приклеенный, и каждый, кто мимо пробегает, толкает его рукою или плечом. Все гуще толпа становится, и все сильнее толкают Страхова, и от толчков этих он отбиться не может, и первое, что видит в предрассветной мгле: лицо человека своего Степана, который за плечи его трясет и озабоченно приговаривает:

— Ваше благородие! Ваше благородие!

— Ты что это! — рявкает на него Страхов, садясь в постели.

— Дюже кричать изволили, ваше благородие, — отвечает виновато Степан. — Вот я и осмелился, ваше благородие...

— Ладно, ступай...

С тяжелой головой поднялся Страхов и ходил потом сам не свой, даже допросы вовсе в тот день отменил.

Вот и толкуй, что сей сон значит!.. И главное, никому не расскажешь, потому как, с одной стороны, срамота, с другой же, — масонская крамола...

Оно, конечно, такого закона нет, чтобы за сны на ноготок класть, с другой же стороны, ежели всякому такие сны станут сниться...

Вечером, как обычно, учитель Петрища пожаловал с книгой своей, только вполуха слушал его Страхов. Видит Петрища — опять сам не свой следователь. Решил развеселить его забавнейшей из сказок своих про жида вороватого. Оглядел белой, почти девичьей рукой бороду и начал, как всегда, издалека.

ТРЕТЬЯ СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТОГО

— Ицка, жид вороватый, домой воротился, а сам до смерти перепуган встречей с гайдамаком бородатым. Жена Хайка накормила его локшанами, лапшердаками, напекла ему куглей, и, наконец, все улеглись на пуховиках и под пуховиками же, на глиняном

полу, в грязной, тесной, чесноком напитанной комнате. У Ицки сердце все еще стучит вслух. Он заснул, и видится ему страшный бородатый гайдамак с ножом в руках.

При словах этих Страхов почему-то вздрогнул, что не ускользнуло от наблюдательных глаз Петрищи.

— Ицка закричал во всю жидовскую глотку, — продолжал Петрища, — и схватил жену за горло; она, обороняясь, ухватила его за бороду.

— Хайка, меня держат и собираются резать, — закричал Ицка, жид вороватый, — это, верно, гайдамак!

— Ицка, меня держат и режут, — отвечала она, — это гайдамак.

— Что же мне делать? — спросил он.

— Соберись с силами, — отвечала Хайка, — поднатужься, возьми гайдамака за ноги и выкинь его из окна.

Ицка вскочил впотьмах, ухватил жену свою Хайку за ноги и махнул ее за окно...

Петрища сделал паузу, прихлебнул чаек, ожидая обычной реакции Страхова, но тот лишь едва улыбнулся.

— Жид вороватый поспешно опустил оконце и припер его шестком, чтобы гайдамак не влез снова, а сам забился под перины, — продолжал повествовать учитель. — Хайка на улице кое-как встала, подперлась руками и подняла такой жалобный и тоскливый вой: «Ой, вей мир! Ой, вей мир!», — что весь кагал жидовский бежался с каганцами, с сальными огарками в руках. Все обступили заливающуюся в три ручья Хайку и спрашивали друг у друга, покачивая головами и потряхивая пейсами: «Вус ис дус? Вус ис дус? — Что это? Что такое?» Хайка рассказала, захлебываясь, что гайдамак бородатый, дай ему Бог, чтоб на том свете ему тяжело икнулось, чтоб весь век ему цибули не бачить, чтоб он свиным ухом подавился, выкинул ее из собственной хаты и принялся резать мужа.

Потолковавши всем кагалом, жидки положили: поймать гайдамака бородатого непременно, а как, несмотря на стук их у дверей, испуганный Ицка не отзывался, то они присудили: самому бойкому жидку Гершке завязанному лезть в окно, и обещали все последовать за ним дружным оплотом.

Петрища огладил нежной белой рукой бороду, но Страхов опять не проронил ни слова, и учитель поспешил продолжить:

— Ицка решился отстаивать донельзя добро свое. Полагая, что гайдамак бородатый лезет снова к нему в гости, он стал у окна, распустил десяток костлявых пальцев своих и ожидал врага в этом отчаянном положении.

Петрища опять было замолк, ожидая реакции, но рассеянно блуждал где-то взгляд следователя.

— Лишь только Гершка завзятый головою своею полез в оконце, — видя, что его почти не слушают, Петрища повысил голос, — как Ицка вцепился ногтями в длинные кудри его и начал с отчаянной силой стучать и возить бедного Гершку рылом по оконничной доске, да со страху так одурел, что не слышал жалостного крика и визга бедного Гершки, и продолжал толочь его морду до тех пор, пока весь кагал жидовский, вся их дружина не вытащила бедного Гершку за ноги из оконницы, вырвав силою его из рук кровожадного гайдамака. А Ицка, жид вороватый, в неукротимой мести своей до того распетушился и расхотелся, что выскочил, заревев не своим голосом, в погоню за людоедом. Увидев за собой впотьмах полунагого человека с дубинкой, жидки кинулись все сломя голову прямо к раввину Аврааму на двор. Здесь ворота были заперты, да подворотня не вставлена; все жидки, ринувшись ниц, проползли под воротами и бесчувственного Гершку почти протащили. Но тут разъяренный Ицка настиг его, сильной мышцей загнул его ноги от земли кверху, к воротам, а как Гершку волокли брюхом кверху, то Ицка ручочинством своим перегнул Гершкины ноги вопреки природному устройству коленного сустава, из-за чего Гершка завзятый стал ходить как леший, сгибая колени в обратную сторону, и потому он на всю жизнь свою получил прозвище «Разбитый на задние ноги».

Петрища даже руками показал, как были вывернуты колени у Гершки, но и это, по-видимому, не заняло Страхова.

— Господин следователь! — решительно прервал себя Петрища. — Что-нибудь нехорошее у вас случилось? Опять что ли жида запираются?

— Причем тут это! — махнул рукой следователь.

— А что тогда?

— Да так, — неопределенно ответил Страхов.

— Сон?! — в упор спросил Петрища.

— С-о-н, — растерянно ответил Страхов, очередной раз потрясенный проницательностью своего друга.

И неожиданно для самого себя горячим шепотом стал выкладывать подробности.

— Только пусть это промежду нас останется, господин учитель, а то дойдет до ненужных ушей, — и Страхов настороженно огляделся по сторонам, словно удостовераясь, что никого третьего в комнате нет.

Учитель понимающе опустил веки и задумался глубоко, даже лоб его гладкий наморщился от напряжения мысли.

— Говорите, уд детородный государев жидовка ножом отчекрыжила? — деловито переспросил наконец Петрища. — А может, так только показалось вам? Может, она только кожицу на конце срезала?

— Ну, а если бы кожицу? — опять оглядевшись, спросил Страхов.

— Тогда истолковать ваш сон нетрудно было бы.

— Как же это? — заинтересовался Страхов.

— А так! — Петрища многозначительно огладил бороду. — Не простым каким-нибудь способом погубят евреи Россию, а особо коварным, через то, чтобы русскую власть обьевредить!..

Страхов даже чаем поперхнулся от неожиданности такого простого истолкования. Не в то горло чай пошел. Зашелся кашлем Страхов, щеки его пунцовыми сделались, и даже носик курносый заметно порозовел от натуги. Долго не мог отдышаться Страхов, а отдышавшись, вздохнул с величайшим сожалением.

— Нет, — говорит, — я хорошо видел. Весь уд под самую мошонку ведьма жидовская оттяпала, да потом еще, удом тем разма- хивая, убежала...

Глава 15

Гуляет по Велижу сапожник Азадкевич, радостный огонь в желтых глазах полыхает, злобные гнусавые речи из уст его извергаются.

Гуляет по Велижу учитель Петрища, гладко, неторопко, вкрадчиво говорит, из книжки своей читает и евреям как бы даже сочувствует.

Гуляет по Велижу Марья Терентьева, регулярно к священнику Тарашкевичу посылаемая.

Но — не сознаются никак арестованные евреи!

Уж Марья Терентьева про еврейского лекаря Орлика Деница вспомнила и про жену его Фрадку: это она передела Марью в еврейское платье и привела в синагогу. Там видела Марья тех же евреев, что солдатского сына убивали, и начевку с кровью его видела. Сливала Марья по приказу Орлика Деница отстоявшуюся воду из той начевки, и кровь размешивала и разбалтывала, и вылила ее в поданный старухой Миркой бочонок, и мочил Орлик в остатках крови два белых холста, и разрезал Орлик тот холст на куски, и раздал Орлик всем по такому куску, и бочонок с кровью Марья отнесла в угловой каменный дом под зеленой крышей да в особую комнату поставила.

Вот какие важные подробности вспомнила Марья Терентьева после священнических увещаний!

— Ась? — спросила Авдотья Максимова, когда Страхов ей показание Марьино прочитал, да тот же час все то же самое вспомнила.

А еще припомнила Авдотья, что хозяйка ее Ханна Цетлин много раз просила никому не рассказывать про солдатского сына, и хотя Авдотья обещала ей то, Ханна все сомневалась и, дабы совершенно уверенной быть, уговорила Авдотью принять еврейскую веру.

— Что! — подпрыгнул в кресле своем следователь, радуясь неожиданному повороту сюжета. Обратили вас в еврейскую веру?!

— Обратили, батюшка! Вот крест святой, обратили! — повторила Авдотья.

Ну, после такого признания да очередного священнического увещевания Марья Терентьева тоже припомнила, да с подробностями великими, как и ее в еврейскую веру обращали да Хаима Хрипуна в мужья определили — читателю про то уже ведомо.

Писарь кончик языка прикусил, потеет от усердия, перо скрипит, дело бумагами полнится, от важности раздувается.

Только никак не сознаются жестоковыйные евреи. Бледнеть-то бледнеют на очных ставках. И за головы хватаются. И в конвульсиях бьются. А сознаться в преступлениях никак не желают!

Но не таков следователь Страхов, чтобы пред еврейскими предприимчивостями пасовать. Когда кулачок свой он окончательно отбил, за плеть принялся. А так как ночные посещения арестантов вызывали лишь чрезвычайные вопли и ужасные стоны, но не приводили к признанию, то он прямо днем при официальных допросах стал собирать всех подследственных, выстраивал их кругом, а одному приказывал на лавку лечь, да по заднему месту, по оголенной спине велел плетью стегать, да чтоб со свистом плеть шла, и чтоб каждый удар кровавый рубец оставлял на жиловской шкуре... Не шутки же шутить послал его в Велиж благодетель князь Хованский.

Оно не положено по закону — чинить допросы с пристрастием. Дак по одному лишь закону многого ли добьешься?

Но евреи — они всюду пролезут, всюду нужных людей найдут да всякими предприимчивостями золотишко свое всучат. Вот уж и до высочайших государевых ушей вопль тот из велижского застенка докатился.

Нахмуриться изволил император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая:

— Разве то дело еще не кончено? Уж полгода прошло, как князь Хованский в докладе всеподданнейшем сообщал, что евреи изобличены в злодействе. А их, выходит, недозволенными способами изобличают! Уведомьте-ка князя Хованского о высочайшем моем повелении без малейшего отлагательства дать делу законный ход и евреям позволить, ежели имеют ясные надлежащие доказательства о пристрастии при следствии, представить оные для рассмотрения правительствующему Сенату.

Глава 16

Государь! Милостивец ты наш ненаглядный! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая! Ить ты любого, государь, можешь на ноготочек положить да кишочки и выпустить.

Только ведь до Бога высоко, а до тебя далеко, государь. До князя Хованского-то поближе, государь, а ведь он, князь, от тебя поставлен!

Вот и орудует в трех губерниях твоим именем.

Есть, к примеру, грамота, от предков твоих, государь, дарованная дворянству. Никто не смеет, в той грамоте означено, дворянина арестовать иначе как по уголовному преступлению. А вот генерал-губернатор князь Хованский про грамоту ту знать не желает. Сколько дворян Витебских, Могилевских да Смоленских на гауптвахте пересидело за то только, что, встречая генерал-губернатора, шапку нерасторопно спешили сымать, — этого не сосчитает никто. Это он, генерал-губернатор, от доброты на губу их сажает.

— Я ж могу, — говорит, — судебное дело супротив каждого организовать да в Сибирь упечь. А я только по пятнадцати суток определяю.

Адъютант князя возвращался из дальней поездки, да требуя, как всякий русский, от ямщика быстрой езды, на камень наскочил и вывалился из коляски. Ну, пустяки, двумя синяками отделался. Да как увидал те синяки генерал-губернатор, так и решил отеческую заботу об адъютанте проявить.

— Где, — спрашивает, — ты выпал и где лошадей перед тем менял?

И тут же распоряжение сделал: послать на почтовую станцию нарочного, смотрителя арестовать и в Витебск на гауптвахту доставить!

Добро бы жидом каким завалившим оказался тот станционный смотритель, тогда бы понятно было. Ан, нет! Смотритель дворянином оказался, отставным майором, за службу военную государеву многие отличия имел!

Вот тут и раскидывай умишком — как быть с государевым удовольствием на счет пристрастия... Государь далеко, а князь Хованский-то туточки. Ить он, князь, благодетель истинный есть! И ордена обещал, и карьеру в самом Петербурге, и дочь свою обещал единственную. И такого благодетеля не ублажить! Такого благодетеля не уважить! Нет, не таков следователь Страхов, чтобы неблагодарной свиньей быть...

Не сознаются арестованные евреи, так мы других еще заарестуем — может, те сознаются.

Гиршу Берлина — арестовать!

Его жену Шифру Берлин — арестовать!

Зятя их Янкеля Гиршу Аронсона — арестовать! Нет нужды, что он безбород еще, что в год несчастного того происшествия ему лет 13, от силы 14 было. Его-то и надо постороже держать: а ну, как всю правду докажет!

И за шляхетку Козловскую Прасковью пора сызнова приниматься, да со всей строгостью.

Ага! Вот уж она признается, что подавала воду для обмывания мальчика... И в другом помогала. А вот и новость великая: мальчик-то не в доме Берлиных и не в доме Цетлиных был умерщвлен, а в синагоге, в самом доме Божиим иудейском! Вот они какие мучители! Терентьева и Максимова иначе показывали, ну ничего. Они не так упрямы, как шляхетка Прасковья. Их к священнику послать, и они все по слову Прасковьи припомнят...

Нет, не зря бьется Страхов уж больше полутора лет! Вот, наконец, картина жестокого преступления, по показаниям трех христианских доказчиц стараниями следователя восстановленная. Волосы дыбом поднимаются да на голове шевелятся.

За неделю до пасхи еврейской Ханна Цетлин просила Терентьеву Марью, за вознаграждение знатное, привести к ней христианского мальчика. Встретив на улице солдатского сына, Марья ту просьбу исполнила. Ханна, в присутствии мужа своего Евзика, дочери Итки, няни-еврейки Риси, посадила мальчика на стол, а Терентьеву и Максимова наградила примерно и напоила вином. Пока бабы пили, Ханна уговаривала их никому не рассказывать про солдатского сына, но Марья отвечала ей, что хоть и взяла деньги, а если узнает, чей мальчик, то непременно расскажет. Потом бабы заснули.

Проснувшись, Авдотья Максимова не нашла в доме ни Ханны, ни ребеночка. Куда они ходили, ей не ведомо. Сама же Авдотья пошла к реке, а когда воротилась, то застала их дома.

Выпив опять вина, Терентьева и Максимова отнесли мальчика к Славке Берлин.

Всю святую неделю евреи Терентьеву вином потчевали да ласкали, потом в иудейскую веру обратили, нарекли Саррою и дали в жены Хаиму Хрипуну.

Максимову тоже обратили, и похожим же образом, только в жены никому не дали, а вместо того приступили к мучительству солдатского сына.

Еврей Поселенный срезал кожицу на кончике уда.

Еврейка Шифра Берлин срезала ногти на руках и ногах.

Приказчик Берлиных Иосель Мирлас, вынужденный привести привешенной к потолку бочки, велел положить туда ребеночка, после чего он и Терентьева, став по сторонам, ту бочку качали. Потом христианок (бывших) напоили водкой, и все дружно отправились в синагогу. Здесь мальчика голого положили в начевку и, в виде поругания, били его легко по щекам, а потом, под руководством лекаря Орлика, стали колоть его чем-то светлым, похожим на гвоздь. Приказчик Иосель Мирлас подвел Козловскую к шкапику, обратил ее тоже в еврейскую веру, научил еврейским молитвам и назвал Лыей.

Ребенка кололи, пока он не умер. Затем его обмыли, так что на тельце остались видны только маленькие, круглые, величиною с горох, раночки, в коих кровь остановилась.

Иосель Мирлас подвел бывших христианок к кивоту и велел им присягнуть, что никогда не расскажут о происшедшем, а также приказал впредь молиться только по-еврейски, потому что еврейская вера «крепче христианской».

Максимова и Терентьева унесли ребеночка в лес, а на обратном пути встретили Мирласа и Хаима Хрипуна, скакавших на бричке, запряженной парой лошадей, к месту, где был положен ребенок. Там они остановились, подошли к трупу и тотчас уехали обратно. Когда Марья с Авдотьей вернулись в синагогу, оба были уже в ней. Тогда же Славка Берлин предупредила бывших христианок, что если они донесут, то им все равно не поверят, так как евреи от всего отопрутся.

Вечером Терентьева и Максимова перелили кровь из начевки в бочонок, а часть разлили по бутылкам, в остатке же Орлик вымочил холст, разрезал его на куски и раздал всем присутствующим.

На другой год осенью евреи собрались у Орлика и просили Терентьеву отвезти вместе с другими евреями бочонок с кровью в Витебск. В дороге поили ее водкой, вечером остановились в Витеб-

ске в еврейском каменном доме, и хозяйки — одна старая, другая молодая — пригласили Терентьеву к себе. Старуха разбавила кровь водой и в ней мочила холст, который раздавала собравшимся евреям, а остаток крови разлила по бутылкам, и две из них Терентьева отвезла в местечко Лезну, и там было проделано то же самое.

Максимова с евреем Белецким также отвозила кровь в Витебск...

Вот какую картину сумел восстановить следователь!

Упружистым шагом ходит он по кабинету, руки довольно потирает... Нет, не выскользнут эти скользкие евреи. Не таков следователь Страхов!

Иоселя Мирласа, приказчика Шмерки Берлина — арестовать!

Носона Берлина, брата Шмерки — арестовать!

Шмерку Гиршова Аронсона, брата Славки Берлин — арестовать!

Жену его Басю — арестовать!

Рувима Нахимовского, горбатого сторожа синагоги, дядю содержащегося под стражей Ицки Нахимовского — арестовать!

Орлика Деница, лекаря — арестовать!

Его жену Фрадку — арестовать!

Рохлю Янкелевну Фейгельсон — арестовать!

Рохлю Фофановну Ливинсон — арестовать!

Янкеля Черномордика по прозванию Петушок — арестовать!

Его жену Эстер — арестовать!

Абрама Киссина — арестовать!

Рисю Мельникову, няню Итки Цетлин — арестовать!

Хаима Гиршева Хрипуна, мужа Марьи Терентьевой — арестовать.

Хасю Ицковну Шубинскую — арестовать!

Зусю Руднякова — арестовать!

Его жену Лию Мееровну — арестовать! Не с кем оставить грудного ребенка?.. Может взять его с собой в острог.

Ицку Фультерсона — арестовать!

Его жену Фейгу — арестовать!

Полоцкого мещанина Иоселя Гликмана, который на бричке приезжал — арестовать!

Генемелиху Янкелевну, замужнюю дочь Черномордика — арестовать!

Блюма Нафанова — арестовать!

Хайку Черномордик — арестовать!

Малку Бородулину — арестовать!

Лейзера Зарецкого — арестовать!

Ицку Беляева — арестовать!

Двух домов давно уже не хватает следователю, так он еще во-семь арендовал да под тюрьму оборудовал. В деньгах на то Страхов не знает нужды: только и делов — благодетелю князю Хованскому отписать, и вот они, денюжки, хоть весь Велижград в тюрьму обрати!

Весь, не весь, а улица целая уже занята казематами. Ее и перекрестили в городе: вместо Ильинской (к Ильину храму ведет) Тюремной теперь называют.

Только — не сознаются евреи!

Твердят одно: если бы и замыслили какое-нибудь злодеяние, пропойных баб в компанию бы не брали.

А Хаим Хрипун, этот хитрый предусмотрительный Хаим, даже насмешничает над следователем! Под плетью только зубами скрежещет, а как поднимется, гремя цепями, с вымазанной кровью скамьи, так ухмыльнется белыми губами.

— Вся, — говорит, — Талмуд-Тору я превзошел, а никогда не встречал указаний, чтобы из человеческой крови можно было делать какое-нибудь употребление.

Слишком хитер ты, Хаим, со своей Талмуд-Торой! Только следователь Страхов хитрее. Строг следователь, но справедлив, жидовские козни за версту чуёт. Ну-ка, как заговорите вы, когда вас лицом к лицу с доказчицами поставят?

— Итак, Терентьева Марья! Вы утверждаете, что евреи обратили вас в свою веру.

— А как же батюшка! У меня ноги все еще болят, как проходила через их жидовский огонь.

— В три года твои обожженные ноги не могли зажить! — кривится в усмешке уличаемый Янкель Черномордик по прозвищу Петушок.

«Ага! — записывает в протокол следователь. — Можно не сомневаться в его соучастии в преступлении».

— Итак, Авдотья Максимова! Вы утверждаете, что лекарь Де-ниц Орлик колот младенца светлым металлическим предметом.

— Ась? — вскрикивает Авдотья. — Он командовал, а все кололи.

— Ой! — брякает оковами Орлик. — Что такое она говорит! Я могу только кричать «гвалт»! Она завтра скажет, что я еще кого-то загубил!

«Не знает ли Максимова и о других его преступлениях?» — записывает следователь.

— Итак, Евзик Цетлин! Доказчицы смело и подробно показывают против вас.

— Я и сам вижу, что они показывают смело и подробно, — подавленно отвечает Евзик, опустив голову.

«Так и есть! — решает следователь. — Он полностью признался в своем участии».

А это ведь только слова, коими преступники себя выдают!

А что такое слова? Что значат голые слова! Надо же слышать эту гамму интонаций, видеть эти еврейские жесты. А какое богатство мимики в проходящих перед следователем лицах!

Вот Ханна Цетлин. Она как полотно бледнеет при одном виде доказчиц! А как они говорить начинают, так она всем телом дрожит. Один раз без чувств грохнулась. Разве все это не уличает ее сильнее всяких слов!

А Славка Берлин — эта наоборот! С какой злобой, с каким остервенением отвечает на обвинения Максимовой! Одна эта злоба, от которой она вся в лице изменилась, явным образом обнаруживает ее соучастие.

Страхов ей так и сказал:

— Ты в зеркало на себя посмотри, как исказилось твое лицо. Сразу поймешь, что запираяться тебе бесполезно: все одно, вина твоя на лице написана.

И подал ей зеркальце. Она посмотрела, так пуще прежнего лицо ее перекошилось. Но — упорная же еврейка!

— Все, — говорит, — показания против меня есть одна неправда!

А Евзик Цетлин, муж Ханны Цетлиной! Как только взглянул на Терентьеву, так сразу встревожился, побледнел весь, словно покойник, и стал лепетать дрожащим голосом, что отроду эту бабу не видел.

А чего, спрашивается, пугаться, ежели не видел?

Марья-то, Марья-то молодец какая! Как начала рыдать и стенать, и в злодействах каяться, и сильными уликами его уличать. А он все отпирается, да в страхе на дверь озирается, точно боится, что кто-то вдруг войдет и окончательно его изобличит.

Тут Марья рыдать перестала, слезы утерла, подошла к нему, да как рванет за бороду:

— И ты правду говоришь?

— Зачем ты бороду дерешь! — кричит в испуге Евзик.

И добавляет к вящему своему уличению:

— Я не говорю, что я правду говорю, я говорю только, что я ничего не знаю...

И вдруг стал что-то несвязное выкрикивать, да так натурально, что следователю показалось, будто он умом тронулся. Дело даже особое пришлось завести: о сумасшествии Евзика Цетлина. Лекаря Левена для освидетельствования пригласили. И — пожалуйте! Признан нормальным!

Нет, с ними строгость, одна только строгость надобна.

Вот Ицка Нахимовский тоже на сумасшедшего стал похож. Два года Страхов в одиночке его продержал, так он от всякой тени шарахается. Ну, сжалился над ним Страхов, на прогулки стал выпускать. Однажды ворота были открыты, надзиратели зазевались, и Ицка этот за ворота прошмыгнул. Никто не заметил того — запросто мог убежать! И что же? Сам вдруг остановился да назад в острог воротился!.. Надо же такую еврейскую предприимчивость предпринять! Скажите после этого, что он не помешанный!.. Ан, лекарь Левен свое дело тоже знает. Обследовал Ицку и признал одно пустое притворство!

А то еще раз чуть не разжалобился Страхов.

Итку Цетлину все три доказчицы дружно уличали. Молоденькая совсем эта Итка, дочь Ханнина, хорошенькая. Слушая уличения, держалась твердо сперва, а потом — как брызнут слезы у нее из глаз и рыдания из груди как прорвутся!.. Упала на колени перед Максимовой да башмаки ей давай целовать.

— Авдотьюшка, — кричит, — миленькая, за что же ты на меня такое наговариваешь, за что молодость мою губишь, грех на душу берешь? Ведь ты же в доме у нас как родная жила, меня с пеленок нянчила, я же на руках твоих выросла. Бога надо помнить, Авдотьюшка! Ты ведь старая уже, помирать скоро, а Бога ты позабыла. До этих двух баб мне дела нет, потому что не знаю я их. Но ты-то как можешь? Если б сама не слыхала от тебя, так никогда бы не поверила. Неужели я только тем и занималась, как ты говоришь!

Замолкла, да так и осталась лежать на полу без чувств. И главное, так натурально — у любого сердце дрогнет. У Максимовой подбородок так и прыгает, да и сам Страхов не знает, куда глаза спрятать, нервно бумаги на столе перекладывает... Отпустить, что ли, еврейку, думает. Мала ведь была еще в тот год, когда солдатского сына убили. Если и видала чего, могла ведь не понимать.

Вечером поделился Страхов мыслью своей с учителем Петрищей. Тот крепко задумался, сидит ссутуленный, бороду нежной рукой не оглаживает, а теребит. Потом говорит вкрадчивым своим голосом.

— Правы вы, господин Страхов, тысячу раз правы в желании вашем христианское милосердие проявить, и я, как христианин, всячески доброту вашу одобряю и пуще прежнего вас за оную уважаю. Так бы и следовало вам поступить, кабы не еврейское было дело. С этими же нужен *принсип!* Великую непоправимую ошибку сделаете, если отступите от *принсипа*. Сами видите, как упорно они отрицаются. Вы девицу по милости своей освободите, а они христианское милосердие ваше по-своему истолкуют и только сильнее духом своим жидовским воспрянут. Да и что может девица сия представить в свое оправдание, ежели по совести рассудить? Ничего, кроме собственных уверений.

Нелегко Страхову с Максимовой. Вообще-то она смела, но как с кем из Цетлиных сводишь ее, так сразу робеет Авдотья, все на следователя оглядывается. Уж он ее так настрашает перед очной ставкой, что будь она каменной — и то все, что требуется, показала б. Ан, беспокойно Страхову! Все-то она «Ась?» выкрикивает, да на лавке ерзает, да на следователя озирается!

Правда, Евзика Цетлина она здорово уличила! Он, как и дочь его Итка, ушам своим долго не верил, что Авдотья, служанка его, может против него говорить. А как поверил, так завопил благим матом.

— Я не в силах удержаться от злобы, — кричит, — потому что если ты у меня в доме жила, и можешь так драть мне глаза, то всякому другому ты их совсем выдерешь.

А Янкель Черномордик по прозвищу Петушок от сильных улик Авдотьи Максимовой, противу него доказанных, в такое глубокое отчаяние пришел, что только бледнел и краснел и бормотал:

— Это беда — это напасть — Бог знает, что она говорит...

А под конец упал на колени и повторял:

— Помилуйте, помилуйте...

Молодец, Авдотья Максимова! Одно слово: молодец! Хоть и на ухо туга, и глупа, и вечно свое «Ась?» не к месту вставляет, а Страхов ею доволен. Хотя и не так, как Марьей Терентьевой. Но Марья — это Марья. Таковую доказчицу поискать!

Бывает, соберет следователь в кабинете своем за раз десять-пятнадцать обвиняемых (всех теперь не соберешь, всех слишком много), подержит часок без всяких объяснений... Они оковами по-

звякивают, опасливо перешептываются: чья, мол, очередь сегодня на скамью ложиться... И тут Страхов Марью на них и напустит.

Она войдет, медленно так обернется, всех евреев по очереди пламенным взором ожжет, да как закричит, как забьется вся.

— Я-а-а... я-а-а... Марья Терентьева... этими вот руками... колола и резала мальчика!.. Вместе с тобой, Ханка! И вместе с тобой, Евзик! И с тобой, Рувим! И с тобой! И с тобой!..

Слезы ужаса и раскаяния душат Марью, стесняют дыхание, грудь ее сотрясается от рыданий, но она преодолевает себя, подбегает к сбившимся в кучу евреям.

— Ты, Славка, подостлала под ним белую скатерть! Ты, Шифра, маленьким ножичком обрезала ему ногти на руках и ногах плотно к телу! Ты, Орлик, подал мне светлое, похожее на иглу со шляпкой железо, и я первая кольнула мальчика в левый бок! Ты, Поселенный, бритвой или похожим на бритву ножом отрезал у него кончик кожицы с уда! Ты, Иосель, подвел меня к шкапику, перед которым вы молитесь Богу! Ты, Рувим, заставил меня перейти через жидовский огонь! Ты, Янкель, положил передо мной тетрадку с ликами святых и приказал плюнуть в них девять раз! А ты, ты, Хаим, ласкал меня, как ласкают жену!

Марья падает замертво посреди кабинета, евреи затравленно молчат, ясно обнаруживая тем злостную жидовскую стачку; а в протоколе новые записи появляются про то, как кто-то из них «побледнел зверским образом», другой возражал на улики с «остервенением и злобой», третий, «схватившись за живот, пришел в совершеннейшее изнеможение», четвертый «смотрел на присутствующих блуждающими глазами и, наконец, упавши вниз лицом, стал повторять: «Ратуйте! Ратуйте!».

Славка Берлин — вот главная злодейка: это давно уже ясно следователю. На допросах злится, от всего отпирается, на доказчиц и даже на самого Страхова нападает. Но Марья не робеет, Марья ей свою правду режет:

— Как ты Бога не боишься, Славка, запираешься, что колола мальчика. Ты как тогда говорила, что от всего отопрешься, так и делаешь.

А Меира Берлина как уличила доказчица! Когда поставил их лицом к лицу следователь, он говорит ей:

— Ты меня никогда не знала, и я тебя не знал.

Марья ресницами лишь мотнула:

— Ты меня знал, когда я была Сарроу!

Тут он пошатнулся да спиной к стенке прислонился; стоит онемевший, руки себе ломает, да слезы у него на глазах.

— Как ты можешь это говорить?.. — выдавливает, наконец, из себя. — Этого никогда не было. Ты сама ничего не знаешь, ты научена.

А горбатый Рувим Нахимовский уже к смерти готовится — вот как Марья его уличила!

— Ты врешь, — говорит он ей, — ты показывать сие научена. Кровь евреям не нужна.

Но сколько робости, сколько неуверенности в голосе, сколько обреченности в маленькой жалкой фигурке!..

— Я знаю, — говорит, — что надобно умереть, — и смотрит вниз, и голос его рыдания перехватывают.

Потом с решимостью поднимает влажные глаза на следователя — аж привстал под тем взглядом употевший от напряжения Страхов... Вот он, миг торжества! Сейчас сознается уродливый горбун...

Но опять опускает голову Рувим:

— Нет! Я не могу этого сказать. Я не могу этого говорить... Надобно умереть...

Вот упрямство еврейское! Ведь сколько раз объяснял ему следователь: стоит только сознаться, и помилует государь! Нет, он готов смерть принять, но только жидовские злодейства не выдать.

Глава 17

Ну, а как Хаим Хрипун? Хаим-то — как, Талмуд-Тору всю превзошедший?
Представьте себе: с гордо поднятой головой перед следователем стоит!

Черная борода серебряными нитями прошита. Лицо пышет гневом. А глаза большие, выпуклые, еврейские так и сверкают на следователя. Со стороны поглядеть, так и не преступник он вовсе, а сама попранная невинность... Ох, и хитер! Прямо как змей-искуситель хитер этот предусмотрительный Хаим!

— Не спал, — говорит, — я с Марьей Терентьевой! Не было, — говорит, — этого и быть не могло, потому что противно сие еврейскому закону и ни один еврей не может быть на одной кровати с другой женщиной, кроме своей жены.

— Так Марья и есть твоя жена! — парирует следователь. — Ее же в еврейскую веру обратили и тебя на ней обженили!

— Не было этого! — кричит Хаим Хрипун. — Не было и быть не могло, потому как есть у меня жена Рива, и что бы там писарь в бумагах ваших со слов этой Марьи ни писал, а я, Хаим Хрипун, ничего подобного не знаю. Здоровье мое, — говорит этот предусмотрительный Хаим, — сильно пошатнулось в тюрьме, но три вещи остались в полном здравии: память, язык и душа. Память моя будет помнить, язык будет говорить, душа сказывать правду про обиду свою, про мучения свои и про все дело. Я буду ратовать не за себя одного, но за людей. Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я? Если не теперь, то когда? Человек дорог Богу, как и государю, потому долг мой говорить об этом. Бог не зря меня мучит. Бог знает правду и для того меня мучит, чтобы и государь правду узнал!

Вот как говорит Хаим Хрипун, пыша гневом, размахивая длинными ручищами и гремя оковами своими.

Тихо, Хаим Хрипун! Ша. Успокойся. Запахни рубаху твою на волосатой, неумолимо седеющей груди твоей.

Помни, Хаим: следователь Страхов тоже знает свой долг и исполнит его до конца. Ты не смотри, Хаим, на милый курносенький

носик следователя, махонькими веснушками, словно хлебными крошками, присыпанный. Ты не смотри, Хаим, на пухлые, почти детские губы следователя да на прилизанные один к одному волосики. Ты в глаза следователю загляни — в маленькие, глубоко сидящие зеленые глазки его, и тогда поймешь ты, Хаим, что не тебе, с Талмуд-Торой твоей, приручить этого волчонка. За благодетелем своим следователь Страхов виляя хвостом побежит, тебе же, лживый и вероломный еврей, готовый все перевернуть и от всего отступить, потому как по вере своей бесовской ты в мыслях своих от любой данной присяги можешь отрицаться, следователь никогда не поддается!

Следователь Страхов маленькими зелеными глазками евреев насквозь видит. А как сердечные дела свои устраивает — любодорого посмотреть! Не то, что ты, Хаим, учинивший целый тарарам с жидовским огнем для того только, чтобы полежать с Марьей Терентьевой. Невеста Страхова в Витебске его дожидается, так что ж ему в Велиже — аскетом прикажешь жить, плоть свою молодую укрощать? Дураков в ином месте поищи, Хаим!

Приглянулась Страхову еврейка молодая, из числа арестантов, Шифра Берлин, невестка Славки и Шмерки Берлиных. Так следователь ее от прочих арестантов отделил и в своем доме запер. Муж ее Гирша в остроге, а она — в доме следователя. Муж волосы на себе рвет, а следователь забавляется. Ни одна женщина к Шифре не допускается и ни один мужчина, конечно. И что там делает Страхов с Шифрой в доме своем — про то никто не ведает на всем белом свете.

Вот как умеет устраивать Страхов дела! И невеста ждет его не дождется; и будущий тесть о наградах хлопочет; и еврейка пригужая в обширном доме следователя, на казенные деньги нанятом, в полной власти его содержится; и никакого тебе страха Господня...

Позднее-то выяснится, что не шибко угодить старалась Шифра следователю. Никак не хотела отступить от закона еврейского, что запрещает лежать на одной кровати с мужчиной, кроме собственного мужа. Ну, и повозиться пришлось с нею следователю. Оно ведь и утехи больше, коли баба сопротивляется. А коли не сопротивляется — так разве ж то удовольствие!

Понатешился Страхов, да и выпроводил Шифру в такой же, как у других, каземат. Она уж еле на ногах к тому времени держалась. А на допросах, на очных ставках с доказчицами, при предъявлении «вещественного доказательства», то есть куска красной материи, якобы кровью пропитанного, она только будет рыдать,

да стенать, да в истерике биться. А когда уж не в силах будет вовсе с койки тюремной подняться, следовательно, из великого усердия своего, прямо в ее темницу дознание переместит: сам пожалует, да с писарем, да с доказчицами.

При виде их грудь Шифрина забьется, затрепещет, да рука вперед выставится, точно отстранить от себя захочет страшное что-то. И ужасом смертным засверкают на Марию Терентьеву расширенные, почти вылезшие из орбит глаза.

— Боже мой! — вскрикнет Шифра. — Того, что она показывает, и на свете никогда не было!

И сильно задержается ее столь пригожее еще недавно следователю Страхову, а теперь осунувшееся, обескровленное лицо.

Поведет на это плечами Марья Терентьева, следователю опалами подмигивает и, приблизившись вплотную к койке, скажет спокойно, глядя на Шифру воловьими своими глазами:

— Слушай, Шифра! Меня Бог наказал бы давно, если бы я хоть одно слово напрасно сказала. Я правду одну говорю и на себя, и на евреев и потому крепка и здорова, и так, как ты, Шифра, не мучаюсь.

И выйдет, покачивая бедрами, из Шифриной темницы — аж zalюбуется ею Страхов, и мысль у него шевельнется — отработавшую свое Шифру Берлин Марьей Терентьевой заменить — не одному же Хаиму Хрипуну гужеваться...

Впрочем, соблазнительная сия мысль лишь на минутку одну посетила Страхова, да он тотчас шуганул ее к чертовой матери. Что ж он, Страхов, безвольный что ли раб страстей своих, чтобы такую неосторожность совершить? Евреи и без того кричат, что доказчицы им научены, так неужели он даст им повод жалобы слать, будто он их в постели своей научает? Ведь жалобы те прямым ходом князю Хованскому переправлены будут, а он ведь не только благодетель Страхову, но как-никак будущий тесть!

Нет, такой глупости Страхов не сделает. Он евреев насквозь видит, как рентгеном, волчьими глазками их черные души просвечивает. Так что не шебаршись ты, Хаим Хрипун, не мечись по темнице твоей, гремя оковами твоими, не кричи «гвалт» всей силой голоса твоего.

Очень ты хитрый, Хаим! Ты думаешь, по еврейской гордыне твоей, что всех можешь перехитрить. Ты суешь дурковатому надзирателю медные пятаки, и он, озираясь пугливо, приносит тебе мятые клочки бумаги. Ты даешь ему серебряные пятиалтынники, и он, быстро-быстро крестясь, приносит тебе перо и пузырек с

чернилами. Ты обещаешь ему золотые рубли, и он, шепча молитвы, прячет записочки твои в шапку, чтобы снести их жене твоей Риве, а она уж передаст их, думаешь ты, нужным людям.

Ох, Хаим, Хаим! Ты Талмуд-Тору всю в голове держишь, и думаешь, что ты всех умнее. Ошибаешься ты, Хаим! Жестоко ошибаешься ты, если думаешь, что всякую христианскую душу можно купить на пятаки да пятиалтынники.

Нет, Хаим. Дать деньги дурковатому надзирателю можно, но купить надзирателя нельзя! Заруби это на еврейском своем носу. Дурковатый надзиратель следователю Страхову преданно служит, потому что следователь запросто может на ноготок свой его положить, да другим ноготочком и раздавить. А он, следователь, не давит. Не давит следователь! Это ведь только с вами, с евреями, он крут. А ты, Хаим, поглубже в душу его загляни, и увидишь тогда, что душа у него мягкая, ласковая, жалостливая. Надзирателю-то он милостиво улыбается, братцем величать изволит.

— Ну, как дела, братец? — спрашивает.

И похлопывает по плечу.

Страхов надзирателю благодетель есть, и ни в жисть надзиратель благодетеля своего не огорчит.

Он хоть и дурковат, а добро помнит и по-христиански отвечает добром на добро. А ты туда же, Хаим, со своими пятиалтынниками. Да надзиратель их в шинке за милую душу просадит, а записочки твои прямехонько следователю принесет.

Ну, а следователь Страхов поглядит на бесовские каракули твои, Хаим, да тотчас, не мешкая, особым курьером, в Витебск, благодетелю своему генерал-губернатору трех губерний князю Хованскому записочку твою отошлет. А генерал-губернатор трех губерний князь Хованский с другим курьером отправит ее в стольный град Санкт-Петербург — начальнику штаба Его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу. А генерал-адъютант барон Дибич переправит записочку в департамент духовных дел и исповеданий. Вот сколько важных чинов носиться будут с твоей записочкой, Хаим!

Зато в департаменте духовных дел и исповеданий попадет она в руки сведущего человека. Он записочку твою, Хаим, с бесовского твоего языка с великим усердием переведет. И отправится записочка в обратный путь. Из департамента духовных дел и исповеданий — к начальнику штаба Его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу. От генерал-адъютанта барона Дибича — к Витебскому и других двух губерний генерал-губернатору князю

Хованскому. А от генерал-губернатора князя Хованского — в Велижград, к следователю Страхову.

Ну-ка? О чем это ты кричишь там в своих записочках?

А кричишь ты, Хаим, что с ума ты сойдешь от стыда и срама, если поверит кто-нибудь из собратий твоих, будто спал ты с Марьей Терентьевой. Ай, Хаим! Не пудри мозги! Кому это интересно? Даже Риве твоей это не интересно.

— Чтоб я так жила, — говорит Рива твоя соседкам, — если мне это интересно!

Голова твоя, Хаим, забита одной Талмуд-Торой, и кому о том лучше знать, как не Риве твоей! С Талмуд-Торой всегда ты ложился и с Талмуд-Торой вставал. Сколько раз говорила тебе Рива:

— Хаим! Есть у тебя жена, или Талмуд-Тора тебе жена, что ты с нею ложишься и с нею встаешь?

Кто-кто, а Рива твоя знает, сколько хитростей и предприимчивостей надо употребить, чтобы ты вспомнил, что кроме Талмуд-Торы на свете имеются еще кое-какие удовольствия!

— Чтоб я так жила, — говорит Рива, промокая платком не просыхающие глаза. — К Талмуд-Торе я ревную, но не к подзаборной бляди.

Так что успокойся, Хаим, не устроит тебе сцены твоя Рива.

Нет, ты не можешь успокоиться в темнице твоей.

— Караул! — кричишь ты в твоих записочках. — Караул, евреи, гвалт! Беда, — кричишь ты, — стряслась великая. Злые люди, — кричишь ты, — хотят истребить весь народ Израилев. Вставайте, — кричишь ты, — братья Израилевы, сыны Иакововы, милосердные дети милосердных. Пусть не думает кто из вас, братья, что если его самого пока не трогают, так не о чем ему стараться. Наша беда, — кричишь ты, — это и ваша беда. Бегите, — кричишь ты, — по всем местам, где только рассеян народ Израилев, и громко вопите: «Горе, горе народу Израилеву!» Чтобы жертвовали жизнью и старались о нас.

Уймись же ты, наконец, Хаим! Пора уже начать кое-что понимать!

Жаловались и без твоих призывов евреи, до самого государя вопль их дошел. И думаешь, без ответа оставил тот вопль государь император Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая? Нет, Хаим, меры приняты, флигель-адъютант государев подполковник Шкурин в Велиж прискакал, чтоб в деле порядок законный навести. Так что и без тебя, Хаим, все нужное делается...

Но не спеши радоваться, Хаим. Ох, не спеши ликовать! Подполковник-то Шкурин неспроста во флигель-адъютанты при новом государе выбиться сумел. Сотоварищи его на виселицу, в каторжную работу, под пули черкесские отправлены, а он — во флигель-адъютанты! К особе царственной приближенным быть удостоен. Тут, Хаим, особый талант надобен: это тебе не над Талмуд-Торой качаться. Тут волю начальства не по словам, а больше по тому, что промеж слов остается, уметь надобно понимать да к исполнению принимать.

Что духу еврейского государь не переносит, про то каждому ведомо. Это врожденное у государя. Тут ни прибавить, ни убавить. Полная несовместимость. А вот поди ж ты, почет евреям решил оказать государь — рекрутскую повинность на них распространить.

Оно ведь на Руси как заведено? Народов всяких под державою царей скопилось видимо-невидимо, но в рекруты берут только русских, христиан, если точнее сказать. Иностранцы же повинность сию особой податью отбывают. Они иго российское на себе несут, и оттого в лихую годину всяких измен от них ожидать должно. Потому не изволят государи российские ненадежным сим элементом свое славное войско поганить.

Однако ж с евреями статья особая.

За много лет до того как стал государем, когда еще даже наследником престола не числился, потому как в законных наследниках Александра Павловича состоял цесаревич Константин Павлович, а юный Николай был всего лишь великим князем, изволил он развлечения ради путешествие совершить по матушке-России, да в том путешествии журнал изволил вести и драгоценные свои соображения обо всем виденном в оный журнал заносить. Ну, и с крайним неодобрением изволил об иностранцах всяких отзываться — о поляках, конечно, и особливо о евреях... Злокозненный, мол, народец — вечно всякие вредные умыслы противу христиан предпринимает! Одно только озадачивало будущего государя императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая. Наполеона тогда три года всего как прогнали, всюду следы нашествия, и на каждом шагу, к величайшему своему изумлению, видел Николай Павлович яркие доказательства тому, что в самую лихую для России годину, когда полчища французские саранчою на русскую землю надвинулись, презренные из презреннейших иностранцев не только не стали служить врагам отечества по примеру тех же поляков, но отменно верно-стью Российской державе отличались.

Наполеон-то во Франции своей полное равноправие евреям даровал. А русский царь, напротив, их в черном теле держал. Там не живи, здесь не торгуй, двойную подать по сравнению с прочим населением плати, и вообще — знай, жид, свое место и не высывайся... А еще массовое выселение евреев из деревень затеять изволил государь перед самой войной и единственно из-за войны этой остановил. Тут бы, кажись, и переметнуться евреям на сторону вторгнувшегося супостата! А они всякую помощь русскому войску оказывали, да нередко с опасностью для жизни...

Загадка странного сего поведения осталась неразгаданной для великого князя, однако же, он про все то запомнил и вот, став государем через десяток годов, милостиво приказать изволил рекрутскую повинность на евреев распространить. Чтобы не одними податями, а и кровью своею отечество защищали.

Ох, какой вопль подняли неблагодарные евреи! «Вей мир, вей мир!» — плач на всю вселенную. Депутатов своих в Петербург отрядили, чтоб в ногах у государя и вельмож всяких валялись да напасть от народа своего отвратили.

Куда там! Не только что сам государь говорить с обрезанными не стал, но даже умник английский — и тот их просьбам и мольбам не внял.

Уж как они обхаживали умника-то!

— Милостивый государь, — говорят, — Николай Семенович! Вы самый справедливый, — говорят, — на всем белом свете человек есть. Уж мы за вас всем кагалом еврейским будем Бога молить, авось дойдет наш вопль до престола Всевышнего. Где же это видано, чтобы целый народ в черном теле держать, бесчисленные стеснения и ограничения на него накладывать, и в то же самое время заставлять его кровью сынов своих отечество защищать. Мы, — говорят, — рады будем нести тяжкую повинность сию наравне с христианами, но тогда только, когда и в правах нас уравниют. Заступись, — говорят, — отец, потому как ты не раз за справедливые дела заступался и о нас, евреях, тоже не раз хлопотал.

Слушал те речи Мордвинов Николай Семенович, что в молодости в Англии морскому делу обучался и с тех самых пор все на английский лад в России-матушке переиначить старался. Сидел в просторном вольтеровском кресле, большой рукой на трость с серебряным набалдашником опирался, а руку его старость крупным ячменем посыпала, и одышка уж мучит адмирала.

«Эх, молодость, молодость, — думал про себя адмирал, — куда ты подевалась, моя английская молодость?»

А сам из-под мохнатых седых бровей умными, молодыми совсем глазами на бородатых да пейсатых депутатов смотрит.

— Ко благу вашему государь рекрутчину заводит! — возражать депутатам стал. — Правильно вы говорите: не может быть такого положения в государстве, чтобы инородца в воинской повинности уравнивать, а в правах его не уравнивать. Будут, стало быть, вам и права — только дайте срок. В Англии тоже не все сразу делалось. В преобразованиях надобно наблюдать постепенность. Так то! Пусть докажут еврейские рекруты усердностью в учении и храбростью на поле брани любовь народа своего к своему государю, тогда и поставим вопрос о правах, и я первым вашим ходатаем стану. А теперь — с глаз долой, из сердца вон. Воля государева такова, чтобы евреев в отбывании рекрутской повинности с христианами уравнивать. Закон о том все одно подготовлен, потому как пополнение войску требуется.

Веселые байки о той депутации подполковник Шкурин слышал в свете. Будто всучили-таки евреи адмиралу Мордвинову кругленькую сумму — за то только, чтобы при обсуждении закона молчал. Ну, адмирал будто бы и молчал, когда при государе закон обсуждали. Иные вельможи будто бы супротив рекрутчины еврейской горячо даже спорили. Нельзя, мол, доверять защиту отечества тем, кому Россия не матушкой ласковой, а злой мачехой доводится. Измен, мол, от таких защитников ожидать можно. И что хилы евреи телом да трусливы душой и потому к ратному труду вовсе негодны, — тоже будто бы говорили. Один адмирал Мордвинов будто бы молчал, словно язык проглотил. А государь на него, на адмирала, то есть, все поглядывать изволил с мрачным недоумением: почему это, дескать, молчит умник английский, любящий к месту и не к месту со своими «Мнениями» высовываться. Не выдержал, в конце концов, государь да в упор будто бы и спросил:

— Что же это ты молчишь, Николай Семенович? Ты же первый горячо за рекрутскую повинность евреев ратовал, а теперь сидишь, словно воды в рот набрал.

— А я, государь, слово дал молчать, — будто бы ответил на то Николай Семенович.

— Кому же это ты слово дал? — еще больше изумился и нахмурился государь.

— Евреям, — будто бы ответил Николай Семенович. — Они мне за молчание мое двести тысяч новенькими ассигнациями отвалили.

При этих словах неподкупный адмирал будто бы толстые пакки денежек на стол выложил.

— А сколько заплачено тем, кто так красноречиво сегодня их здесь защищал — про то мне не ведомо, — добавил будто бы с невозмутимостью.

Рассмехался будто бы тем словам государь, а прочие вельможи смутились. Одно слово — потеха!

С того самого дня и вышел закон, в коем прямо черным по белому начертано:

«В отбывании рекрутской повинности евреев с христианами *уравнять*».

Да ведь в том вся и хитрость, что так только в строках написано, а верит строкам только тот, кто промеж строк читать не умеет.

А подполковник Шкурин обучен! Не зря ведь он во флигель-адъютанты выбился. Он про то уравнение мигом уразумел.

Коренным-то россиянам закон велит семерых человек от двух тысяч ревизских душ поставлять, а евреям — по десяти от тысячи! Из коренных россиян лишь взрослые мужики могут быть отданы в рекруты, а из евреев — дети да юноши от двенадцати лет. Ну, а ежели где десятилетних и даже осьмилетних сдадут, так ведь кто ж их годам счет-то ведет?

Опять же та особенность, что еврейских рекрутов сам еврейский кагал обеспечивать должен и за то ответ держать. Любые подмены может кагал производить — с одним только условием, чтобы вместо еврея другой еврей в рекруты сдавался, а законная ли произведена подмена и какова ей причина, это властям знать неинтересно. Так что если какой-либо богач, чьему сыну очередь в рекруты идти, хорошо кагалу заплатит, чтобы его сына бедняком заменили, так то ихнее, еврейское дело; властям в него встревать резону нет.

Что из этого воспоследует, угадать заранее можно. Кагалы особых ловцов заведут, и будут ловцы те, как волки голодные, по городам и местечкам рыскать, прямо на улице еврейчиков хватать да в рекруты поставлять. Ну, а малого ребеночка легче схватить, чем большого, и пойдут в службу почти сплошь семи да восьмилетние малютки. Вой, плач, стон стоять будет в еврейских местечках и городах, а детишек тех обрядят в тяжеленные шинели да сапожища, да и погонят их через всю Россию — в Архангельск, Тобольск и дальше в студеную Сибирь, в особые школы — воинскому искусству обучать. А ежели перемерет их половина дорогой, другая же половина в самих школах помирать будет, так что их, жиденят-то, жалеть? Они ведь христианских детей без всяких жалостей режут...

Или какой-нибудь умник вопить по сему поводу начнет: голо-вотпяство, измена, подрыв государственной мощи! Закон, мол, велит еврейскими рекрутами войско, а не кладбища пополнять...

То-то и оно, умник, что между строк читать не умеешь. Ведь вовсе даже и не надобны евреи для государева войска, потому как только измен и неприятностей всяких от коварных жидов ожидать надобно. И школы те учреждены вовсе даже не для военной, а для богоугодной надобности. Чтоб из жиденков добрых христиан делать! Тут цель великая: перековка и переплавка душ! На добровольных началах, конечно, потому как у нас на Руси все добровольно: один добровольно на ноготок взбирается, другой добровольно ему кишочки выдавливают.

В школах-то тех порядки заведены строгие, и добровольные мастера дело свое разумеют. Жиденков муштруют с примерным усердием, голодом их вымаривают и секут, конечно, сил не жалеючи.

Встаешь — бьют, учишься — бьют, обедаешь — бьют, отказываешься гнилую капусту есть — бьют, а поел гнилья и животом заболел — вдвойне бьют. О том, что болеть дозволяется, в законе не записано.

По субботам детишки полы моют в казармах. Бог иудейский запрещает им по субботам работать, да ведь до Бога высоко, а унтер — вот он, с розгой за спиною стоит. Выстраиваются в шеренгу детишки, по команде кальсоны холщовые выше колен подворачивают, потому как кальсоны казенные, их беречь надобно; по связке жестких прутьев каждый получает и, ползая на голых коленках, ребенок прутьями теми и опилками должен свою полоску пола оттереть. А унтер сзади расхаживает, зорко за каждым следит да, чтоб усерднее терли, ласково по плечам, по спине, по заднему месту розгой постегивает... Стараются детишки всюю, кожу на голых коленках, по опилкам-то елозя, до кости самой сдирают. Потом короста покрывает колени, гноятся они, а если заикнешься про то — живо тебе полсотни ударов отсчитают... А ночью, когда все улягутся, главное и происходит. Возьмет унтер двух-трех детей да на саднящие колени у койки своей поставит. Сам лежит, а дети на коленях стоят. Час стоят, другой, третий...

— Дядь, отпусти! — попросит один несмело.

— Примешь, жиденок, христианскую веру — отпущу, — лениво отвечает унтер. — Токмо шоб добровольно мне...

Ну, а кто примет добровольно, тому новая обмундировка, и пряники медовые, и от тяжелой службы и битья полное освобождение; и самое сладостное — медовых пряников слаще! — право товарищами своими с того дня помыкать...

Вот она в чем, главная мысль, запрятанная между строк! Зловредный народец преобразовать через его детей! А для того детей тех с малолетства, пока не набрались еще полностью пагубного еврейского духа, от родителей отымать да в христиан добровольно переделывать. И потому пушай хоть девять из десяти еврейских рекрутов подохнут, зато из десятого примерный солдат и христианин получится. Вот как понимать надобно мудрое государево «уравнять»? Любой полковой ротмистр, да и унтер, да и ефрейтор так именно и понимает. Что же говорить о подполковнике Шкурине, во флигель-адъютанты пробившемся!

Ты, Хаим Хрипун, Талмуд-Тору всю изучил и думаешь, что всякого можешь перехитрить! Нет, Хаим. Не для того подполковник Шкурин сотни верст из столицы скакал, чтобы теперь под твою дудку плясать. Опять же, про генерал-губернатора князя Хованского не забывай, коему представиться подполковник в Витебск завернул. Это при прежнем государе всякие утонченности да иносказания в цене были; теперь же только в законах иносказания. Теперь-то и при дворе о многом с солдатской прямоотой говорится, а в провинции и подавно. Незачем князю Хованскому в кошки-мышки с флигель-адъютантом играть; куда как проще прямо объяснить, что молодому следователю Страхову, который с примерным старанием труднейшее еврейское преступление распутывает, он, князь, самолично покровительствует, и не критики его действий, а деловой помощи от столичного эмиссара ждет.

— Поезжай, поезжай, голубчик, — закончил генерал-губернатор аудиенцию, переходя на фамильярное «ты». — Нелегко молодому чиновнику воевать с целым полчищем еврейским. Скользкие они, как лягушки — это я по своему опыту знаю. Кажется, уж ухватил их, ан нет: выскальзывают! Они у меня вот где сидят! — и попилил князь Хованский ребром княжеской ладони своей по крепкой княжеской шее своей.

Чего же ты хочешь, Хаим? Чтобы ради тебя и Талмуд-Торы твоей флигель-адъютант Шкурин против ветра плевал и блестящей придворной карьерой рисковал?

Скажу тебе по секрету, Хаим, с ней и так не полный порядок — с карьерой то есть. Брат есть старший у Шкурина, он в генералах давно. Послали его крестьянский бунт усмирять в одном из питерских уездов. Ворвался он с молодцами своими в деревню да, не долго думая, дотла всю спалил. И, почитая сие за доблесть великую, молодецки о подвиге своем самому государю отрапортовал. А тут выяснилось, что бунтовала совсем даже другая деревня.

Словом, небольшая ошибка случилась у генерала Шкурина. С кем не бывает! Не ошибается тот, кто ничего не делает — это тебе, Хаим, должно быть известно. Только государь возьми и разгневайся. Даже высочайшее замечание приказал генералу Шкуруину сделать за учиненное самоуправство. То, что деревни он перепутал, государь ему милостиво простил: ошибка у каждого произойти может. Однако бунтовщиков, оказывается, по-отечески учить надлежало, розгой то есть, а не пожаром!

Ну, у нас на Руси брат за брата не отвечает, Хаим, — ты это знаешь. Однако хмуриться стал изволить государь на флигель-адъютанта своего Шкурина. Как увидит, так про брата его вспоминает и — изволит хмуриться.

Шкурин видит — карьера его рушится на глазах. Что делать? Он к благодетелю своему барону Дибичу бросился — спаси и помилуй. Тот и подсказал государю в Велиж его послать.

— Надобно тебе, подполковник, — объяснил Шкуруину, — с глаз государевых на время убраться. Пусть неловкость брата твоего немного забудется. Велижским делом государь сильно изволит интересоваться, так что тебе не только можно там пересидеть, но и отличиться немалый шанс имеешь.

Вот он, подполковник Шкурин! Сидит против тебя, Хаим Хрипун, рядом со следователем Страховым. Полное розовое лицо его гладко выбрито и пышет здоровьем; усы аккуратно подкручены, как положено тому, кто при воинском мундире состоит. Глаза искрятся весельем, а ямочка на округлом подбородке выдает доброту и мягкость характера. При эполетах, золотом шитых, при аксельбантах и орденах восседает подполковник, чтобы большее на тебя, Хаим, произвести впечатление — не то что этот тщедушный волчонок Страхов в потертом зеленом сюртучке с тусклыми пуговицами и без всяких отличий.

Безукоризненно вежлив подполковник Шкурин, предупредителен, «вы» тебе говорит и не то что рукоприкладства не позволяет себе, а даже голоса никогда не повысит. Опять же, субботы и прочие еврейские праздники уважает.

Уж как пострадали из-за праздников этих евреи! С рыданиями молили пухлогубого Страхова, руки целовали ему, чтоб только не понуждал к святотатству. Нет, он нарочно по субботам да праздникам еврейским протоколы допросов подписывать заставлял. Часами на коленях держал несчастных, ногами топал, бил по кривым еврейским носам маленьким своим кулачком, с плетью набрасывался в бешенстве. Сам измучается, жертву свою

мучаючи. Ничего не добьется, конечно, потому как правоверный еврей удавить, зарезать, на куски разорвать себя скорее позволит, нежели в Божий день какую-нибудь бумагу подпишет. Но — упорен следователь Страхов, в другую субботу новую жертву мучает.

— Фи! — поморщился на все это флигель-адъютант Шкурин, распространяя запах французских духов. — Фи, господин Страхов, зачем подавать повод к лишним жалобам и нареканиям?

Зато записочки твои, Хаим, подполковник Шкурин вместе со Страховым перед тобою раскладывает с торжественностью:

— Ну-кась, извольте-ка объяснить, в чем состоит вина ваша великая, коли вы так громко кричите в ваших записочках...

Спокойно, Хаим! Спокойно!.. Ты на кого это замахиваться вздумал! Ты на кого это глазами своими сверкаешь?

— Разбойники! — кричишь ты, потрясая оковами. — Обманщики! Это вы мучаете и убиваете нас, вы хотите пить кровь нашу и наших детей! Я, — кричишь ты, — вас не боюсь! Я никого не боюсь! Можете меня повесить! Пусть будет так, как угодно Богу, от Него надо принимать и хорошее, и худое.

И Шкурину, подполковнику, флигель-адъютанту государеву, в аксельбанты и эполеты его, в полное пышущее здоровьем лицо с ямочкой на закругленном подбородке, выдающей мягкость характера:

— Тебя государь не любит! Государь правду любит, для того и прислал тебя, а ты ее спрятать хочешь! Твои наговоры все равно пойдут в жопу, а моя будет правда. Бог правду видит, и правда откроется. Тебя государь тогда не помилует!

Вот каков ты, Хаим Хрипун! Ты веришь в правду! Ты убежден, что правда откроется.

Что же сказать тебе на это, Хаим? Ты прав! Тысячу раз прав! Не зря ты Талмуд-Тору прилежно так изучал, что из Витебска к тебе приезжали евреи, а если б из Вильны самой кто пожаловал, так не пожалел бы. Откроется правда, Хаим. Падут тяжкие оковы твои. Рухнут темницы. Потому что в сорочке родился ты, Хаим, с серебряной ложкой во рту!

Вот Шифра Берлин родилась без сорочки: ей, ты знаешь, уже не дожидаться правды.

А про юношу чахоточного Янкеля Аронсона слыхал? Или не ведаешь ты, сидя в темнице твоей, что в соседних темницах происходит? Янкелю во время того несчастья с солдатским сыном, как и Итке Цетлин, всего-то тринадцать годков было. Но не посмотрел на то следователь Страхов и на чахотку его не посмотрел. В самую

темную, самую сырую темницу запрятал, да такие тяжеленные оковы наложил, что юноша ни ногой, ни рукой шевельнуть не мог. Крысы не спеша ползали по немощному телу, деловито обнюхивали, а у него сил не было руку поднять и отогнать их. Недолго продержался так Янкель, захлебываясь идущей горлом кровью стал, но и тогда не позволил Страхов снять с него оковы. Ах, как умоляли родственники, прознавшие как-то про ту беду! Как рыдала, в ногах валяясь, не старая еще мать, тоже в остроге сидящая! Об одном просила следователя, чтоб дозволил ей принять последний вздох сына, приблизившегося уже к минутам смерти. Как упрашивали представители еврейского общества разрешить умирающему исполнить долг последнего покаяния, что, по словам их, есть неотъемлемое право всех подсудимых даже в самых грубых нациях!..

Был бы уже в Велиже Шкурин, так, может быть, и дозволил бы. Но Страхов с учителем Петрищей посоветовался и остался твердым, как гранитный утес. В общем, не дожидаться уж Янкелю Аронсону правды: без сорочки он на свет Божий явился.

С остальными неясно пока: скольким из них еще не дожидаться правды. Много ведь годков еще ее ждать, ой как много, Хаим!

Скажу тебе по секрету: не дожидается правды купец третьей гильдии Шмерка Берлин — первый на весь Велиж богач... Ты ведь знаешь Шмерку, какой он богатырь. Так знай же — вытащат его из острога, как поганую падаль.

И Янкель Черномордик по прозвищу Петушок — тоже не дожидается правды.

И Малка Бородулина — прямехонько из темницы проследует в лучший мир.

И даже Зейлик Брусованский не дожидается правды, хотя он, Зейлик, пока что даже неправды не дождался и ведать не ведаёт, что сгущаются над ним тучи, что ждут его оковы, темницы, допросы и — позорная смерть!

Да что там евреи, когда и сам следователь Страхов не дожидается правды твоей, Хаим Хрипун! От холеры ли, что, еврейскими кознями вызванная, на край нагрянет; или от огорчения, что не его правда верх берет; или от другого огорчения, что благодетель перестал быть им доволен, да невеста ждать устала и за хлыща столичного вышла; а может, от всего вместе, но скорее — от отравы, злокозненным жидовьем через масонов в самовар подсыпанной, — только отправится следователь Страхов к праотцам, не завершив великой миссии своей...

Но ты дождешься правды, Хаим Хрипун! Ты дождешься! Выйдешь ты из темницы твоей, воссияет опять над тобою солнце, запоют снова для тебя птицы, и состарившаяся располневшая Рива, кусая высохшие губы свои, уронит голову на твою поседевшую грудь. В сорочке ты родился, Хаим, с серебряной ложкой во рту.

А пока что замолкни, Хаим! Перестань кричать «гвалт» и греметь оковами твоими. Ша! Тихо жди своей правды! Жди и надейся! А следователь Страхов да флигель-адъютант Шкурин (вместе они — «комиссия») свою правду добывать будут.

Опытный Шкурин все дело многотомное переверошит и неопытному Страхову отменным наставником сделается.

Доказчицы-то, к примеру, показывали, что в Витебск кровь отвозили. А привлек кого Страхов к ответу из Витебска? Нет, не привлек. Упущеньеце по неопытности допустил... Так это все поправимо. На то и кругозор столичный, чтобы молодому провинциалу помощь оказать.

— В нашем деле, господин Страхов, широта подхода необходима. Всесторонность нужна и охват! — объяснил Шкурин и широко разведенные руки решительно сдвинул, как бы охватывая кого-то.

И вот «комиссия» в Витебск доказчиц доставляет.

...Ай да Марья Терентьева! Клад драгоценный, а не доказчица! Другая растерялась бы в большом городе. А эта мигом каменный дом отыскала и как вошла в него, так враз опახалами мотнула да в старуху-еврейку перст уставила.

— Она в крови холст мочила.

Старуха, конечно, запирается. Впервые, мол, эту бабу вижу. Страхов как подскочит к ней, да как кулачок свой маленький ей под нос сунет, да как затопает на нее! Насилу унял флигель-адъютант Шкурин разбушевавшегося сотоварища.

У Шкурина-то своя метода. Мягко, деликатно, почтительно даже стал в угол загонять еврейку.

— Посмотрите, — говорит, — получше на эту бабу. Откуда у вас уверенность, что никогда не встречали ее? Дело давнее, уже четыре года прошло, как она вам бочонок с кровью христианской привозила. Может быть, вы запомнили за четыре года?

Замолкла тут старуха, Марью разглядывает, словно напоминает. А Шкурин усы подкручивает да Страхову подмигивает: учись, молодежь, перенимай опыт наставника, пользуйся щедростью нашей и добротой!

— Куда же ты мне четыре года назад бочонок-то привозила? — еврейка, припоминая, Марью спрашивает.

— В этот самый дом — куда же ище! — Марья дерзко ей отвечает. — Ты меня водкой поила, а в крови холст мочила и разным евреям, что в дом набились, холст тот лоскутьями раздавала. Нешто не припомнишь! — ухмыляется Марья, опахалами хлопая.

Выслушав все это, старуха головой покивала, руки в бока обширные уперла да на Марью вдруг двинулась.

— Чтоб тебя гром разразил на этом месте, и чтоб горела ты огнем. Чтоб все мои болячки посыпались на твою голову. Чтоб язык твой отвалился, и чтоб печень твоя высохла, и чтоб пожелтела ты вся и согнулась, и чтоб искры посыпались из нахальных твоих глаз, и чтоб сдохла ты под забором, чтоб ворон глаза твои выклевал. Я тебе такой бочонок покажу, что до конца дней своих будешь меня помнить.

Тут схватила старуха какой-то ухват, и если бы Шкурин вовремя руку ее не перехватил, то одной доказчицей меньше бы стало у следователей.

Долго унимала разбушевавшуюся старуху «комиссия», а уняв, выяснила, что она с семейством своим второй год всего в Витебске. Жила раньше в Киеве, но как приказ от государя вышел всех евреев из Киева выселить, то и переселилась семья ее в Витебск, и про все то в полицейских книгах записано, а потому и не составит труда проверить.

Погрозил Шкурин пальцем Марье Терентьевой да приказал Авдотье Максимовой «свой» дом указать, куда она две бутылки крови доставила.

Ну, Авдотья — не Марья. Мало что на ухо туга, так ведь еще годы свое берут, память отшибают, легко ли отыскать в большом городе дом, куда один раз всего давным-давно наведаться пришлось?

То в одну кривую улочку велит свернуть лошадей Авдотья, то в другую, то в третью... Да на всякий вопрос поросычи глазки тарачит, ухо ладошкой оттопыривает и громким «Ась?» выстреливает. Аж в животе заныло от тоски этой канительной у флигель-адъютанта Шкурина, он уж ворочаться почти приказал, как вдруг вскрикнула, подскочила Авдотья.

— Вот, — говорит, — дом под зеленой крышей. Здесь Лейба Штернзанд живет. Жена его Дворка как раз и есть та злодейка. Это ей я две бутылки крови доставила, а она в тесто все вылила да замесила!

— А не ошибаетесь вы? — переспрашивает недоверчиво подполковник Шкурин.

— Ась? — вскрикивает Максимова. — Вот те крест святой, батюшка: тот самый дом и есть. Под зеленой крышей!

Лысый седобородый еврей, беззубым ртом шамкающий, дверь «комиссии» отворяет.

— Я! Я есть Лейба Штернзанд, — шепелявит. — Провалиться мне на этом месте, если это не я! Я вас спрашиваю: кто лучше может знать, кто есть Лейба Штернзанд, если я есть Лейба Штернзанд?

— А раз так, — подскочил к старику Страхов, — то говори, где твоя жена Дворка? Да живей у меня, а то бороду твою жидовскую выдеру!

— Дворка? — пожевал беззубым ртом Лейба, и седые брови его полезли высоко на взрыхленный морщинами лоб. — Дворка! — крикнул он куда-то вглубь дома. — Иди скорее сюда! Тут важные господа пришли, у них до тебя дело!

Прокричав все это, старик замолчал, прислушался.

— Дворка-а! — крикнул громче. — Ты слышишь меня? У господ до тебя дело!

Старик опять прислушался.

— Ну, что вы на это скажете, господа хорошие? — обратился он к Страхову и Шкурину. — Не отзывается! Что бы это значило, я вас спрашиваю. Похоже, там нет никакой Дворки, а? Ох, моя бедная борода, придется мне с тобой распрощаться.

Старик беспомощно развел руками.

— Хватит болтать! — заорал Страхов, не на шутку взъярившись. — Подавай сюда Дворку, а то хуже будет.

— Э-хе-хе! — печально вздохнул старик. — Еврею всегда хуже. Где я возьму вам Дворку, если у меня никогда не было жены Дворки? Моя жена Шайна! Я вас спрашиваю: кому лучше знать имя моей жены? А? Что вы об этом думаете?

И Лейба снова развел руками.

— Дворка или Шайна — это нам без разницы, — с не свойственной ему грубостью закричал вдруг Шкурин; его рассердила болтливость старика и его странная, оскорбительная, как показалось Шкурину, еврейская улыбка. — Давай скорей сюда жену Шайну!

Повернув удивленное лицо к Шкурину, Лейба странно как-то подмигнул одним глазом и покачал головой.

— Эх, господин начальник, господин начальник! — сказал он укоризненно. — Зачем так громко кричать, я вас спрашиваю? Вы думаете, я глухой? Так я открою вам маленький секрет! Я совсем не глухой. Может быть, вы мне жену мою дадите? Нет, господа начальники, даже вы мне жену вернуть не можете, потому что взял ее Тот, кто посильнее вас... Ее взял, а меня никак не возьмет, — печально вздохнул старик.

Переглянулись тут Шкурин со Страховым.

— И давно померла старуха? — флигель-адъютант спрашивает, в душе укоряя себя за неуместную горячность.

— Старуха? — изумляется Лейба. — Чтoб я был таким стариком, какой она была старухой! В тот год померла, как француза прогнали... Живу я с тех пор один, а зачем живу, это вы мне можете сказать?

Да, дела! Выходит, жена старика Лейбы вовсе не Дворка, а Шайна, и померла она за одиннадцать лет до того, как Авдотья ей кровь младенца Федора привозила...

Последняя надежда у «Комиссии» на местечко Лезну осталась: туда ведь тоже Марья Терентьева две бутылки доставила.

Привезли Марью в Лезну. Но тут она вовсе отказалась что-либо узнать. А как попробовал надавить на нее в мягкой своей манере Шкурин, так она вдруг окрысилась:

— Что вы от меня хотите? — завопила. — Зачем вы меня сюда привезли и заставляете узнать то, чего нельзя узнать! Назло вам, против евреев не буду показывать!

Так и вернулась «Комиссия» в Велиж несолоно хлебавши.

Однако Господь справедлив. Вознаграждает Господь всякое старание и упорство.

Едва возобновила «Комиссия» допросы евреев, как Фрадка Дениц, жена лекаря Орлика, по доброй воле своей такое вдруг рассказала, что онемели на время оба следователя.

Пока не было их, надзиратели-то пораспустили узников, послабления всякие стали допускать, и случилось так, что на прогулке во дворе Фрадка с горбатым Рувимом Нахимовским встретилась. Тут и поведал ей Рувим по величайшему секрету, как умертвили ребеночка в Большой синагоге.

— Никто из евреев в том не признается, — предупредила «Комиссию» Фрадка. — Рувим первым от своих слов отречется, потому как все зло у него в горбу сидит. Но мне он поведал, что мертвого мальчика Евзик Цетлин из синагоги под полою своего кафтана вынес, а нож, которым его зарезали, у резника Берки Зархе хранится.

Ага! Не зря, стало быть, следователи давно уже на Фрадку глаз положили.

Сильно подорвало ее одиночное заключение, шарахаться стала от всякой тени, так что доктора Левена несколько раз приходилось призывать для ее освидетельствования. Однажды во время прогулки она на виду у всех к воротам кинулась, а схваченная и

допрошенная показала, что сделала сие с досады и огорчения, потому что от содержания в одиночке бывают у нее видения и частые обмороки. В другой раз она окошко разбила да осколком стекла горло пыталась себе перерезать — хорошо, надзиратель шум в камере услышал и успел ее остановить.

На допросах Фрадка обычно рыдала, обвиняла в своих несчастьях других заключенных, но выкрикивала в истерике такие несвязные фразы, что из них никак не удавалось сплести что-нибудь похожее на показание.

И вдруг — такое признание!

Мигом нагрянула «Комиссия» с обыском к резнику Берке Зархе, в ужас повергнув его многочисленное семейство. Берку, правда, не увели, зато все ножи его отобрали, чтобы тщательно их исследовать.

Ну, ножи как ножи: для резки скота предназначены, но один нож, с серебряным черенком — точь-в-точь такой, что в Петрищевой книге описан. Рукоять тонкой резной работы, черенок серебряный, в роскошный сафьяновый футляр упрятан, а на футляре — о радость следователям! — надпись еврейская выделана, неразгаданностью своей таинственно манит...

Вот, наконец, улика из улик, первое в деле вещественное доказательство!

Для начала Берку Зархе «Комиссия» призвала: говори, еврей, почему один нож от всех других отличается?

— А потому, — отвечает Берка, — что нож этот особый. Теми ножами мы скот режем, а этот, в футляре, — для обрезания еврейских младенцев предназначен. Как велит нам религия в восьмой день весь мужской пол обрезать, то вот таким ножом обряд этот и совершается.

Записала «Комиссия» показание Берки, подписать приказала и домой отпустила. Да ведь не такие же простачки Шкурин и Страхов, чтобы всякому еврейскому объяснению верить! И отправился нож с серебряным черенком в дальний путь.

Из Велижа — специальным курьером в губернский город Витебск, к генерал-губернатору князю Хованскому.

Из Витебска, от князя Хованского — другим курьером в столичный град Санкт-Петербург, к начальнику штаба его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу.

От генерал-адъютанта барона Дибича третьим курьером — в Департамент духовных дел и исповеданий...

В Департаменте надпись ту перевели и в обратный путь нож отправили. Из Департамента — генерал-адъютанту барону Дибичу. От барона Дибича — в Витебск князю Хованскому. А от князя Хованского — в Велиж, в «Следственную комиссию».

Вот он, лежит на столе: ручка резная тонкой работы, серебряный черенок в роскошный сафьяновый футляр упрятан, а рядом — лист гербовой бумаги, витиеватым писарским почерком перевод таинственной надписи на бумаге той обозначен.

«Благословен еси, Иегова, Бог наш, Царь мира, освятивший нас заповедями своими и давший нам заповедь о введении младенца сего в сонм отца нашего Авраама».

...Черт побори! Выходит, и вправду сей нож для еврейских младенцев, а не для христианских предназначен...

Ну, да может же быть, что надпись сия — всего лишь уловка жидовская! Они ведь и не такие предприимчивости изобрести могут...

Допросила «Комиссия» Рувима горбатого — он от всего отрицается, потому как все зло у него в горбу сидит. Допросила Евзика Цетлина, что под полою мертвое тело вынес — он только кулаками голову себе бьет и ни слова не говорит.

Фрадку Дениц на очную ставку с запиральщиками привели, а она печальные еврейские глаза выпячивает: ни о чем, мол, не знаю, ничего не ведаю. Если и говорила чего, то не помню, потому что в помешательстве была.

Вот и жди награды от Господа за великое свое усердие!

Глава 18

Однако нет, не провести евреям «Комиссию», особенно многоопытного Шкурина! Не желают брать на себя кровь младенца непорочного Федора Иванова — тем хуже для них. На солдатском сыне белый свет клином ведь не сошелся.

В том и ошибка главнейшая молодого следователя, что он на один тот случай усилия свои направлял, тогда как в следственном деле широта нужна и охват. Ведь ежели евреи христианскую кровь в мацу добавляют, так они каждый год армию целую младенцев должны вырезать — одним-то на много ли напасешься. Проговорился же лекарь еврейский Орлик Дениц на очной ставке с Максимовой, что она его и в других преступлениях уличить может.

Вот и допросим старуху сызнова.

И Марью Терентьеву снова допросим — это уж само собой.

И упрямую шляхетку Прасковью Козловскую, хоть от нее и меньше толку добиться можно.

— Какие еще еврейские преступления вы открыть можете — ради спасения ваших душ христианских? Не торопитесь, бабоньки, подумайте. Храм Божий посетите, священническое увещевание отца Маркелла выслушайте, покайтесь хорошенько, да после и выложите с божьей помощью, что там у вас на душе.

...Ну, вот, видите! Это ж другой разговор.

Стало быть, во времена далекие, на другой год после француза, Марья Терентьева к покойнице Мирке Аронсон двух мальчиков приводила, сынов крестьянки Настасьи; вместе с евреями их в бочке качала и затем умертвила...

Прекрасно! Молодец, Марья Терентьева!

А еще через несколько лет дворянку Дворжецкую заманила Марья к еврею Габелю, а на следующую весну в лесу, под сосною, нашли руку, голову и косу женскую...

Оч-чень хорошо! Отменные новости Марья Терентьева сообщает!

А потом еще в корчме еврея Шолома, в местечке Семичево, девочку христианскую умертвили, по воспоминанию Марьи Терентьевой.

Даже не одну девочку, а двух — это уточнение вносит Авдотья Максимова.

Ай да Авдотья! Ай, да старушенция! А «Комиссия»-то уже тебя полагала вовсе неспособной что-либо припомнить от старческого твоего скудоумия! Прими, Авдотьюшка, чарку водки, для тебя специально из еврейского шинка доставленную, выпей, Авдотья, за спасение душ христианских и за скорейшее жидов в злодействах их уличение.

Ну, что еще сообщить имеете, бабоньки, после нового священнического увещевания?

Ага!.. Еще, стало быть, двух мальчиков и двух девочек замучили евреи!.. Правильно. Так их! Ату! Что это все по одному младенцу им мучить? Парами-то оно веселее! Тут та подробность важна, что в одной бочке сразу двоих качали, да головами врозь клали. Неотразимейшая улика! Неясно только, о каких двух девочках сообщают доказчицы — о тех ли самых, что в корчме Шолома замучены были, или еще о двух? Что? Не припомните точно? Ну да — разве всех зарезанных вами деток упомнишь!

Зато вы помните с точностью, что всякий раз после убийства обеих вас в жидовскую веру обращали?.. Оч-чень хоррошо! Итого, Марью Терентьеву три раза обращали, а Авдотью Максимову четыре раза... Или наоборот: Авдотью три, а Марью четыре? Да это все одно: от перемены мест слагаемых сумма, как известно всякому образованному человеку, измениться не может. Ишь ведь как хитро у коварных жидов делается! У нас-то, христиан простодушных, один раз окрестили тебя, и довольно. А у них — нет! Зарезал ребеночка, и снова веру принимай. Чтоб крепче верилось!

Вон страсти какие насообщали доказчицы, испытывая всякий раз после священнического увещевания полное (теперь-то уж наиполнейшее!) раскаяние и имея неистребимое (теперь-то уж наинеистребимейшее) желание совесть свою от самого последнего пятнышка отчистить.

И чтобы уж совсем-совсем, до блеска чтобы полного совесть отчистить, сообщили доказчицы, что не убийствами только пробавлялись всю жизнь совместно с евреями, но еще и святые тайны из церквей похищали, евреям их поставляли, а евреи — о-о-о! — тайны эти топтали ногами, прутиками секли, огнем палили и всякими другими предприимчивостями над ними надругались...

Много месяцев длинных припоминают доказчицы, много месяцев скрипят гусиные перья, том за томом бумагами полнится, а Страхов и Шкурин донесения строчат: один — благодетелю своему князю Хованскому, другой — благодетелю своему барону

Новости во всеподданнические доклады переключиваются, двумя потоками к государю стекаются. Не угодно ли будет императору Всероссийскому, царю Польскому, великому князю Финляндскому и прочая, и прочая, и прочая, — не угодно ли будет ему приказать дознание вновь открытых «Комиссией» преступлений еврейских произвести?

Конечно, угодно! Какой может быть разговор!

«Надо непременно узнать, — накладывает резолюцию государь на докладе князя Хованского, — кто были несчастные сии дети. Это должно быть легко, есть ли все это не гнусная ложь».

«Строжайше исследовать все до корня» — пишет государь на докладе барона Дибича.

Глава 19

До корня, так до корня, государь! Это ведь как милость твоя соизволит. Потому как ты, государь, милостивец наш, самодержец ты Всероссийский есть. Мы их до корня, государь, до самого корня, можешь не сомневаться!

Волю твою самодержавную мы ведь с полнамека, даже вовсе без намека понимать выучены. Друг дружку локтями распахиваем, исполнять спешим. В одном что ли Велиже евреи разбойничают?

В Гродненской-то губернии тоже девочка десять годков назад пропала. Ну, да! То самое дельце, что брат твой державный вешать на евреев изволил не дозволить да по поводу коего губернатору высочайшее замечание сделал. Так то ведь при брате твоём, в Бозе почившем, было, а это при тебе, государь. Мы ведь разницу понимаем! Брат-то твой, прости Господи крамольные мысли, по системе Руссо бабкой своею воспитан был. Опять же — мечтатель, конституциями увлекался, да и грех тяжкий убийства батюшки своего всю жизнь по монастырям замаливал. Ты же, государь, тверд и крут, особливо по части евреев. Так мы дело то, государь, возобновили. Да! Пустячок, конечно, в сравнении с Велижским, а все-таки приятно. Мы до корня докопаемся, будь спокоен, государь!

А еще, государь, мы одно дельце в Виленской губернии затеяли. Тоже пустячок, но приятно. Мы волю твою невысказанную понимаем и исполнить спешим, потому как ты государь самодержавный есть, а мы вошки мелкие, на ноготке твоём раздавленными быть вовсе даже недостойные. На ловца-то и зверь бежит, государь! В самый удобный для нас моментик схватили евреи в поле крестьянского мальчишка да кровь из него всю до капли и выкачали. Думали, шито-крыто будет, ан пастушок один шестнадцатилетний все то злодейство своими собственными глазами подсмотрел да на евреев показал.

Так что уж не одно, а три дела расследуются, государь! В Витебской губернии, в Гродненской да в Виленской. Все три губернии друг с другом соседствуют, и все евреями густо заселены. Представляешь, государь, как волнуется христианский народ! Как радуется сапожник Азадкевич! Вот проходу-то нет евреям на улицах!

Правда, в Виленской губернии осечка вышла. Не евреи вовсе, по расследованию выяснилось, а сами пастухи христианские мальчика того порешили да гвоздем искололи, чтоб на евреев свалить. Следовательно о том Виленскому губернатору быстренько донес, а губернатор — старшему братцу твоему, государь, Константину Павловичу, наместнику твоему в царстве Польском. А братец твой, что два года всего назад трон Всероссийский рыцарски тебе уступил, к державным стопам твоим все сие поверг. Так и так, мол, братец мой государь, не вели казнить, вели слово молвить. Евреев я, сам знаешь, терпеть не могу, потому что скользкие они, как лягушки, и предприимчивостями всякими шибко мне досаждают. Но не повинны они в деле том, ибо наврал все пастушок шестнадцатилетний.

Так ты опять брови нахмурил, государь, и отписал братцу своему Константину Павловичу волю твою самодержавную, чтобы он, чего доброго, не сваял дурака и особое внимание обратил на дело сие, ибо сходство оно имеет с Велижским, где, по несчастью, подтверждается уже, что не один, а семь ребят замучены.

Так ты, государь, рукой своей и начертал: «Уже подтверждается».

Это вам не шутки шутить!

А в Велиже, меж тем, торжество великое. Потому как точно установила «Комиссия»: была, была дворянка Дворжецкая! Водку хлестать любила, по шинкам да корчмам песни распевала. И в том самом году, что Марья Терентьева указала, исчезла дворянка, о чем в протоколах полицейских надлежащая запись сделана.

Правда, про то, что останки ее под сосною нашли, в протоколах не значится. Да и из жителей такого никто не припомнит. И с евреем Габелем, к коему Марья Терентьева, по слову ее, Дворжецкую привела, тоже неувязочка получилась, потому как Габель в Велиже аж через пять лет после исчезновения дворянки поселился. Ну, это мелочи! Всего-то и делов — Марью к священнику Тарашкевичу еще раз направить, к раскаянию совсем уж окончательнейшему ее через священника побудить. И выяснится тогда, что Габеля она затем назвала, чтобы друга своего сердечного Янкеля Коршакова выручить. Добро одно Марья от Янкеля видела. И угощал он ее щедро, и денег давал, да не за какие-нибудь шуры-муры, а просто так, жалеючи бездомную бабу. Вот и она, грешница, пожалела его да Габелем заменила. Это у Марьи просто. Однако теперь, раскаявшись уж совсем окончательно, до самого то есть наисамейшего донышка совесть свою желая очистить, Марья голую правду показывает. Друг ей Янкель Коршаков, а правда Марье Терентьевой дороже. А посему:

Янкеля Коршакова — арестовать!
Мовшу Белецкого — арестовать!
Корчмаря Шолома — арестовать!
Корчмаря Зейлика Брусованского — арестовать!
Нахома Дукаровского — арестовать!
Крестьянина Василия Голубя, что служил у Шолома десять лет, — арестовать!

Мещанку Марью Ковалеву, участвовавшую в умерщвлении двух мальчиков в доме Мирки Аронсон, — арестовать!

Крестьянку Агафью Демидову — арестовать!

Чтоб рассадить по одиночкам новых арестантов, пришлось «Комиссии» еще пару домов прикупить на Тюремной улице — ну, да суммы на то отпущены, потому как истина дороже казенных денег.

Трое христиан — особо ценная добыча для «Комиссии». Ведь как прикажете расследовать еврейские злодеяния без христианских-то соучастников? К ним сперва надобно с арестом нагрязнеть да в самую сырую темницу их бросить!.. В оковах тяжких, на воде и хлебе пару недель выдержать! А потом ласково втолковать, что через жидов погибель их, через жидов они пропадают... Прощение, конечно, государево пообещать. Да священническим увещанием все то закрепить! Ну, и пожалуйста: они уж готовы к чистосердечному раскаянию.

Страхов руки маленькие потирает, план свой Шкуруину излагая. Так-то вот, господа подполковники, флигель-адъютанты государевы! Хоть и провинциалы мы неотесанные, и в молодых еще летах, и в чинах не тех, и французский наш изрядно прихрамывает, а тоже кое в чем разумеет; неспроста благодетель генерал-губернатор князь Хованский из всех чиновников нас отличил и к делу сему наитруднейшему приставил!..

— Итак, Голубь Василий, 47 лет, крестьянин, служивший в корчме Семичево у еврея Шолома. Что имеете сказать по делу о замучении евреями в означенной корчме двух девочек христианских?

— Ничего не имею, ваше благородие.

Василий Голубь, мужик крепкий, кряжистый, обстоятельный, долго высмаркивается в рукав и двумя ясными голубыми глазами без всякого смущения на следователей глядит.

— Но ты в корчме у Шолома служил? — строго спрашивает Страхов.

— Служил, — коротко отвечает Василий. И подумав, добавляет. — А вот девок чтобы каких убивали, про то не скажу, видеть не доводилось.

— И что же ты? — доверительно улыбается Шкурин, и на полных розовых щеках его обозначаются две нежные ямочки — точно такие же, как та, что присутствует на круглом его подбородке. — Разве ты не слышал никогда, что евреи христианскую кровь из детей источают?

— Как не слышать, ваше благородие! — всем своим кряжистым телом Василий оборачивается к Шкурину. — В народе-ить чего только не сказывают! Он-ить, народ-то, всякое сказать может. Я их благородию про корчму объясняю, что не видал ничего такого. Может, и было чего, врать не стану, токмо мне, говорю, про это неведомо.

— Так ты жидов выгораживать! — подсказывает к Василию Страхов, кулачок свой маленький под нос ему подсовывая. — Подкупили что ли тебя жида?

— Виноват, ваше благородие, — Голубь немигучими глазами глядит на Страхова без всякой боязни. — Не обесудьте, ваше благородие, ежели что не так сказал. Народ-ить, ваше благородие, иной раз и не так сказать может. Не обесудьте, ежели что. А на счет деток малых, так мне ничего такого видеть не доводилось.

— А вот Марья Терентьева и Авдотья Максимова показывают, что и ты при том был, — всеми ямочками своими улыбается Шкурин.

— Это ихнее дело, ваше благородие. А ежели вы меня спрашиваете, то говорю, что ничего не ведаю.

Билась «Комиссия» с Василием, Страхов аж голос сорвал от неистовства, снова батистовый платочек стал вынимать — обтереть кулачок. Даже Шкурин не утерпел — по глазам его нахалючим пару раз съездил. Заплыли оба глаза у Василия, однако упрям оказался мужик: все на своем стоит!

Шкурину даже интересно стало: отчего это он так запирается?

Как и Страхов, Шкурин обыкновение имел камеры эзков обходить — только без плети и рукоприкладства. Он просьбы-претензии все выслушивал да беседовал по душам. Немаловажные для дела подробности оседали в голове его после каждого такого обхода. То Марья Терентьева что-нибудь новенькое припомнит, то Авдотья Максимова, то шляхетка Прасковья Козловская... А то и из евреев кто-нибудь словцо какое неосторожное обронит.

Но дольше всего у Василия Голубя задерживался флигель-адъютант.

— Ты пойми, глуп человек, — простецки пытался держаться Шкурин, — что в полной ты моей воле. Что захочу, то с тобой и сделаю. Ты доброту мою христианскую оцени. Вон Страхов давно уже свои меры применить к тебе хочет, а я не велю покамест; мужик, говорю, хороший, одумается. Смотри, не серди меня, Василий. Ежели и дальше запираяться станешь, так придется приказать, чтоб отсчитали тебе двадцать плетей. А мало будет, так и еще двадцать.

— Это ваше дело, ваше благородие, — отвечал спокойно Василий.

— Мое-то мое, да от тебя зависит! — терпеливо объяснял Шкурин.

— Нет! — возражал Василий. — От меня никак не зависит.

— Что ж ты — и под плетью отпираться будешь?

— И под плетью.

— Да, упрямя ты, Василий, ан меня не переупрямишь. Мы ведь и до смерти засечь можем.

— Это ваше дело, — отвечал Василий.

— И не боязно тебе под плетью смерть принять?

— Боязно, ваше благородие, — признавался Василий. — Как же — не боязно! Только в грехе-то жить боязнее.

— Эка сказал — в грехе жить! Христос-то милостив! Покаешься, и любой грех простит. А человек, Василий, человек! — Шкурин делал многозначительную паузу и подымал вверх палец, — не простит!

— А это его дело, ваше благородие.

— Что ты все заладил — «ваше дело», «его дело»?

— Виноват, ваше благородие, ежели что не так сказал. Народ, он-ить и не так сказать может. Я к тому, значит, что кажён должен по правде жить и всякое свое дело с правдой сверять. А ежели кто не по правде, то мне об этом заботы нет, потому как ему самому ответ держать перед Господом. Его, стало быть, дело и есть. А мое дело — по правде жить и Бога бояться.

— Да ты философ, Василий! — шумно изумлялся Шкурин и однажды священника Тарашкевича с собой привел, чтоб показать ему тюремного философа.

— Выходит, ты, Василий, всю жизнь по правде живешь? — затрубил густым басом отец Маркелл. — И думать так не смей! Грешно так думать! Нет такого человека, чтобы ни разу не согре-

шил, а если бы и был такой, то Господу он не угоден. Господь наш Иисус Христос грехи мира на себя принял, за это смерть лютую через евреев претерпел, да воскрес во плоти, чтобы грехи верующих в него и далее на себя принимать. Тот, кто грешит да в грехах своих кается, угоднее Господу, нежели вовсе безгрешный и в гордыне своей не кающийся.

Выслушал мудрую эту речь Василий, покраснел аж от напряжения, стараясь в смысл ее вникнуть, да и затрясся весь от хохота.

— Это я что ли безгрешным себя почитаю? — заговорил, покачивая головой. — Хватит у меня грехов для покаяния, не изволь в том сумлеваться, батюшка! Токмо грех от греха рознь — вот я как разумею. Ежели я по неведению или по слабости согрешу, тут самый раз покаянную молитву Господу вознести. А то нарочный грех, для того, значит, чтоб потом в нем покаяться. Нет, батюшка, такого греха Господь не простит, никакая молитва в том не поможет, потому как не покаяние то будет, а одно лицемерство.

— Это ты мне, священнику, про грехи да молитвы объяснять смеешь! — возмущенно загремел Тарашкевич.

— А хоть бы и тебе, батюшка, — ответил Василий нимало не смутившись. — Божья правда простая, она всякому открыта, кто душой разумеет ее хочет.

— И потому ты жидов выгораживаешь? — не вытерпел, вмешался в разговор Шкурин.

— Не выгораживаю я, ваше благородие, а правду говорю. Ибо сказано в Писании: «Не лжесвидетельствуй».

— Так ты и Писание читал? — спросил Тарашкевич.

— Не читал, потому что читать не обучен, а Христову правду я знаю.

— Но евреи-то в Христа не веруют!

— Это ихнее дело, — ответил Василий.

— А младенцев резать — тоже ихнее дело? — опять вмешался Шкурин.

— А резали они али не резали — это ваше дело выяснить. Мне про то ничего не ведомо.

— Да вот показывают же бабы на корчмаря Шолома и на тебя, что ты в том деле был и им помогал! Может, ты наказания боишься и оттого запираешься? Так я же объяснял тебе: ежели признаешься да покаешься, государь помилует. А запираешься тебе бесполезно, мы все одно про все знаем.

— Это ваше дело.

— Видно, прав Страхов: подкупили тебя евреи. Не обижайся, Василий, ежели плеть по спине твоей погуляет.

— Мы привычные, — ответил Василий.

...Так и не добились ничего «Комиссия» от этого Голубя.

С Агафьей Демидовой тоже морока одна получилась.

Поглядишь на нее — в чем только душа пребывает! Щеки впалые, губы белые, скулы торчат. Ручки-ножки тонюсенькие, как лучины, а стан — что былинка лесная, вот-вот переломится.словно не крестьянка-работница перед следователями, а монашка, долгим постом и веригами плоть свою изнуравшая. А с другой стороны, и не монашка совсем. У той-то ведь дух успокоенный должен быть, а у этой — в глазах испуг, и пальцы тонкие бегают, бегают всё шаль теребят. Веревки, кажется, вей из такой перепуганной бабы. Ан, уперлась, что тебе пень невыкорчеванный посередеь дороги.

— Лучше безвинно пропасть, — говорит, — нежели за дело. Как это я признаюсь в том, про что не ведаю... Да лучше принять кнут, дать себя зарезать... Мне себя не жаль, — говорит. — Дочь у меня малолетняя, вот ее жаль, но и ради дочери я греха принять на себя не могу. Хоть два, хоть три года моя мука продлится, а правда кривду все одно пересилит.

Ни угрозами, ни ласками, ни священническим увещеванием так и не смогли следователи Агафью эту переломить. Особые меры Страхова тоже не помогли нисколько.

Вот и толкуй после того, что русский человек завсегда всякой силе и угрозе покорен! Точно не из русских людей воинства Пугачевых да Разиных происходили, точно и теперь не бунтуют мужики супротив помещиков, ежели оные всякие произволы и притеснения им чинят.

Сила, конечно, солому ломит, да не всякий человецишка согласен соломою быть! Простой народ российский — он разный бывает, как, к примеру, и образованное общество. Один помещик последние соки из крестьян своих жмет, а другой — своей же пользы ради — трех шкур с мужиков не дерет, двумя ограничивается, и почитают его за то мужики паче отца родного. Третий — лихоимец и лизоблюд, а четвертый честен и горд, чуть что не по нем, всякого готов к барьеру вызвать да пулю в лоб получить. Пятый жидов люто ненавидит, а шестой — ничего, говорит, немалая польза может быть отечеству от шустрого сего народца, потому как, веками гонимый, он особую сноровку в ремеслах, промыслах и всяких предприимчивостях приобрел и очень может споспешествовать развитию промышленности, торговли, привлечению капиталов, в чем главная нужда в отечестве как раз и есть. А у седьмого, у седьмого душа так устроена, что страданиями человеческими дюже уязвлена бывает. Он, седьмой то

есть, вовсе весь строй государственный перевернуть возмечтает, да не корысти своей ради, а ради народа; и за любовь к народу во глубине руд сибирских заживо теперича сгнивает. Вот она какая вся разная — Русь-матушка, и какой разный народ в ей обитает!

Вся надежда на Марью Ковалеву осталась у «Комиссии», ну и взяли ее в оборот следователи.

Уж как рыдала Марья Ковалева, горючими слезами заливаясь, как малолетством своим во времена приписываемого ей злодеяния отговаривалась! Однако после многих священнических увещаний и обещаний полного прощения призналась-таки, что несмотря на тогдашнее малолетство свое, в умерщвлении двух мальчиков в доме Мирки Аронсон точно участие принимала.

Ну, а как призналась, с ней уж иной разговор пошел! Про бочку пришлось припоминать, про инструменты, какими детей кололи, и имена, имена называть еврейские.

Каждый новый вопрос в отчаяние великое Марью приводит. По всему видно — не до конца еще раскаялась злодейтельница.

Но — усердны, терпеливы следователи! Опять к священнику шлют, и снова в «Комиссию» призывают. По слову, по крупице судебную истину из уст доказчицы исторгают.

Все до конца, до самого донышка откроет теперь злодейтельница, никуда не денется!..

Только делась вдруг Марья Ковалева, делась!

Пошел опять по камерам Шкурин, особую надежду на новую доказчицу возлагая. Засовы гремят, надзиратель дверь в темницу распахивает. Шкурин плечи раздвигает, грудь колесом выкатывает, голову выше дерет, чтобы вид его соответственное чину величие имел... Шаг в темную камеру — да как отпрыгнет вдруг флигель-адъютант, потому как в темноте ему по носу чем-то холодным, отвратительно-тошнотворным съездили.

Пригляделся к темноте подполковник, и видит: голая пятка Марьи Ковалевой напротив носа его болтается... А сама доказчица, в чем мать родила, под потолком висит!.. Платье, вишь, с себя сорвала, удавку из него скрутила да на крючке, из потолка торчащем, повесилась. Так и пропала через евреев. Такие дела! Еще одна живая душа не дождалась правды Хаима Хрипуна.

Пришлось злодеев с прежними доказчицами на очных ставках сводить. Сперва новеньких перед ними поставили: а ну как слабинку какую-нибудь обнаружат... Куда там!

Что корчмарь Шолом, что Мовша Белецкий, что Нахон Дукаровский... Краснеют, бледнеют, всем телом дрожат, чем участие свое в преступлениях бесспорно и обнаруживают. Однако твердят одно: не знаем, не ведаем! А Янкель Коршаков, призревавший по-дружески Марию Терентьеву, заявил с наглостью, что никакой такой Марьи никогда до ареста не знал и понятия не имел о ее существовании. Однако, увидев ее в лицо, тотчас приметно смутился, головою поник, что и зафиксировала в протоколе «Комиссия» к вящему его уличению. Зейлик же Брусованский бедностью своею «Комиссию» в заблуждение хотел ввести.

— Как это может быть, — говорит, — чтобы такие богачи, как Шмерка Берлин, меня близко к себе допускали и тайные дела со мною делали?

Как будто не ведомо «Комиссии», что евреи все заодно: хоть бедные, хоть богатые — друг за дружку держатся!

— Как, скажите, — гнул свое Зейлик, — я мог этой бабе пятьдесят рублей дать, если я отроду таких денег в руках не держал и видеть не видывал?

Складно говорит хитрый еврей, однако ежели бы в его словах правда была, то отчего, спрашивается, он в таком замешательстве пребывает?

То же и старые знакомые.

Славка Берлин как услыхала про тех двух мальчиков, что врозь головками в бочке лежали, так зашаталась от слабости, голос даже ей перехватило. Все это неспроста! Разве испугалась бы так, ежели б не была виновата?

Потом, правда, оправилась Славка: дерзости опять стала говорить. Откуда только берется в ней столько прыти! Мать ее, старуха Мирка, еще до арестов с перепугу помереть успела. Муж Шмерка, хоть и выглядел богатырем, в тюрьме очокурился; племянник чахоточный Янкель Аронсон тоже отправился в лучший мир, а до него еще — невестка Шифра, с коей, пока в силе была, следовательно Страхов забавлялся. Сын овдовевший Гирша — в оковах; все братья — в оковах; братья мужа — в оковах. Да и у самой Славки руки-ноги железом до костей проедены... Давно бы уж, кажется, в отчаяние ей впасть да ничего уж не ждать от загубленной своей жизни. А она стоит перед «Комиссией» — гордая. Глазищи огненные тарачит — что тебе пророчица Дебора, прозванная матерью всего Израиля.

— Лгут все доказчицы! — кричит Славка. — Вы сами, — кричит, — научили их, они и врут. Будет время — я опять стану Славкой, и все евреи опять будут дома! Бабы сами скажут, что они вами научены.

Евзик Цетлин аж затрясся весь, как предъявили ему обвинения в святотатстве. Не так младенцы зарезанные испугали его, как святые тайны.

— Вы с ума сошли, — бормотал он, обращаясь к доказчицам. — Где и когда это было?.. Я не знаю, что такое тайны и как можно над ними надругаться...

И при этом еле стоял, и рукой дрожащей пот со лба утирал.

Потом, однако, и он стал храбрее.

— Одумайся, — говорит Авдотье, служанке своей. — Скажи, что ты солгала, потому что Страхов тебя научил. Не думай, что везде тебе будут верить, как здесь. Придет время, дело в суд перейдет, там будут у нас еще очные ставки — что ты там станешь говорить?

И все это потребовал в точности в протокол записать.

— Иначе, — говорит, — не подпишу, хоть режьте меня на куски.

Вот как расхрабрились евреи!

Хаим Хрипун, как услышал новые обвинения, так за живот схватился, и ну хохотать, хохотать, аж скрутило его от хохота.

— Пощадите, — говорит, — господа следователи, уморите вы меня. Я целую жизнь Талмуд-Тору изучал, а слыхом не слыхивал про святые тайны. Как, говорите, мы их?.. Прутиком, прутиком секли?.. Тайны, значит, секли прутиком... Ха-ха-ха! Нельзя так, господа! Такими шутками до смерти уморить можно...

С трудом великим унял свой смех жидовский Хаим Хрипун. Брови сдвинул и к бабам обратился.

— Вы, — говорит, — не жалеете себя. — Страхов одно обвинение доказать не смог, так теперь новые выставляет, а вы его слушаетесь! Придумать не шутка, только придется вам и в другом месте ответ держать — что вы тогда скажете?

Насилу остановили да в камеру отправили расходившегося Хаима...

Даже Нота Прудков, маленький, юркий, трусоватый Нота с бегающими глазками, — и тот вдруг речи горячие стал говорить да в протокол требовал их заносить. От кого-кого, а уж от Ноты Прудкова не ожидала «Комиссия» такой строптивости.

Он и под арест-то из трусости одной угодил. Его и не думал забирать Страхов, да он, как стряслась та беда, голову потерял, ночами спать перестал: лежит и от шороха всякого вздрагивает. С перепугу отправился к учителю Петрище.

Тот как раз в крохотном садике своем возился. Страстишку невинную имел учитель — розы в садике разводил самых диковинных и редких сортов, а роза — цветок нежный, капризный,

особого ухода и обхождения требует, вот учитель и возился с ними: окучивал, навоз к корням подсыпал широкой совковой лопатой, да так и застыл с лопатой в руке, увидев перед собой юркого Ноту: давно уж евреи за три улицы дом его обходили, а этот самолично пожаловал.

— Удивляетесь моему появлению? — затараторил Нота, бросая в разные стороны руками, как только учитель провел его в дом. — Не удивляйтесь, сейчас я вам все объясню. Вы, господин учитель, большое влияние на еврейское дело имеете. Не возражайте, не скромничайте, про вашу дружбу со следователем Страховым весь город знает. Поэтому я и пришел к вам. Я делу желаю помочь и интересное предложение имею сделать. Следователю будет хорошо и мне будет хорошо — всем будет хорошо. Нет, господин учитель, прямо к нему я пойти не могу, потому что если узнает кто-нибудь, что я был у следователя, все будет испорчено. Наберитесь терпения и выслушайте! Главное я беру на себя — пусть только господин следователь не приказывает меня арестовывать. Евреи мне доверяют и обо всем откровенно мне говорят, и я хочу помочь раскрыть это страшное преступление.

Запахавшись от своей скороговорки, Нота перевел дух и продолжал:

— Вы человек образованный, господин учитель, и знаете, что еврейский закон запрещает употреблять кровь — не только человеческую, но и животных. Еврейские резники особую выучку проходят, как скот резать, и смысл выучки в том, чтобы животное меньше мучилось и чтобы вся кровь до последней капли из него вышла, потому что правоверный еврей скорее умрет от голода, чем станет есть мясо, не освобожденное от крови.

— Что из этого следует, господин учитель? — неожиданно спросил Нота и затем сам ответил. — А то, что если господин следователь думает, что евреям нужна христианская кровь для религиозных целей, он истины не откроет. Возникает вопрос: зачем же они убили мальчика? Пока я этого не знаю. Но они мне доверяют, и я могу незаметно выспросить и через вас следователю передать. Только пусть наши с вами отношения будут в секрете и, главное, пусть меня по ошибке не арестуют...

Говоря все это, Нота жестикулировал с каким-то азартом. Петрища же слушал молча и недвижно, опираясь о лопату, которую так и не выпустил из рук. Так и не сказав ни слова, Петрища молча выпроводил Ноту Прудкова через черный ход.

И в ту же ночь пришли за Прудковым! Сам, выходит, напросился в каземат. Через одну свою трусость!

На допросах, конечно, стал отпираться, юлить, того, что Петрище говорил, не подтверждал. И столько еврейских предприимчивостей с перепугу навывдумывал, что доставил бездну хлопот. Как пришли за ним, чтобы очную ставку с Марьей Терентьевой провести (надо же было признать его доказчице, что тоже мальчика мучил), он за щеку схватился: зубы, говорит, разболелись, мочи никакой нет, дозвольте хоть полотенцем подвязаться. Ему и дозволили по христианскому милосердию. А как признала Марья его, не моргнув глазом, он вдруг и говорит:

— Коли ты меня так крепко запомнила, то скажи-ка господину следователю, есть у меня борода или нет?

Забегали тут, заметались марьяны опахала — то на следователя, то на Ноту, то снова на следователя. Сквозь полотенце не видно Марье, есть ли борода у Ноты, один только нос длиннющий еврейский виден. Зарыдала Марья, забилась в конвульсиях от этакой хитрости, Христом-Богом поклялася, а про бороду так ни слова и не сказала. Вот какая получилась еврейская предприимчивость!

Пришлось особо Страхову поработать с Нотой: и маленьким своим кулачком, и плетью, и темным погребом, где на воде и хлебе Нота сам не знал какой срок отсидел, до тех самых пор, как флигель-адъютант Шкурин в Велиж пожаловал. Он и приказал Ноту из погреба выпустить.

Как полоснул Божий свет по отвыкшим нотиным глазам, глупый еврей пуще прежнего перепугался да поскорее заявил, что имеет важное признание сделать. Но не иначе как самому генерал-губернатору князю Хованскому.

Возликовала «Комиссия», предчувствуя скорое окончание дела: давай, выкладывай, Нотка, чего там к князю ездить, ты тут все выложи, мы в протокол запишем, а князю, не сомневайся, все честь по чести донесем! Однако уперся Нота: или самолично князю, или никому.

Пришлось в Витебск везти упрямого еврея. Только ничего важного он и князю не показал. Руками размахивал, брызгал слюной, уверял, будто не надобна евреям христианская кровь...

Из-за такой ерунды обеспокоить заставил благодетеля-губернатора!..

Проучил его Страхов примерно, как воротилися в Велиж. Три ночи подряд учил, а флигель-адъютант Шкурин на то время удалился из города по неотложному делу. Не спускать же такого фортея хитрющему еврею! Ну, а если откроется что про незаконность дознания, то его, Шкурина, при том не было.

Затих Нота после той науки, так затих, что решила «Комиссия»: впрок наука пошла. И только через полгода открылось, что Нота тем временем ход подземный из своего каземата ухитрился прорыть, через него сообщался с волей, куда передавал все, что в «Комиссии» происходило, и оттуда получал важные для их дела вести. А весной, как лед на Двине сошел, он и вовсе решился бежать да полтораста верст за одну ночь на утлой лодчонке отмахал. Задумал до Петербурга добраться да самому государю в ноги упасть.

Ноту, ясное дело, изловили и в каземат опять водворили. А Страхов и вовсе озверел после того побега. Шкурин даже и отлучаться не стал из Велижа. Разделал Страхов Ноту Прудкова — чистая получилась работа. Весь, почитай, в кусок сырого мяса превратился еврей. Взмолился под конец Нота, прохрипел с трудом, что Святое христианское крещение желает принять!

Дала ему отдышаться «Комиссия», месяц прошел, пока следы истязаний кое-как затянулись на Ноте, и можно стало прислать к нему священника.

— Какое крещение? — изумился Нота. — Не знаю ни про какое крещение!

Как услышал Страхов о новой коварной еврейской предприимчивости, так схватил плеть и ринулся в Нотину темницу, но Шкурин с кислой гримасой его остановил:

— Черт с ним, пусть в аду жарится нехристь, будем еще нервы трепать из-за трусоватого еврейчика...

Конечно, после всех этих выкрутасов Нота тише воды, ниже травы. Только и он вдруг, повернувшись к писарю, продиктовал показание, предупредив, что если не будет записано все слово в слово, он протокола не подпишет.

— Здесь нет законов, нет правды, — диктовал Нота, — верят распутным бабам. Государь не тех людей прислал. Я только оговорен в убийстве, а вы меня допрашиваете, как разбойника. Это не следствие, а насильное нападение на евреев. Вы научили баб говорить против нас, чтобы истребить всех евреев, потому что если докажете, что мы убили мальчика, то не мы одни, а все евреи будут виноваты! Но мы не боимся вашей неправды. Пусть только дело выйдет из «Комиссии», и с нами ничего не будет, а вас будут судить за то, что делаете все незаконно!..

Сговорились! Не иначе, как, даже упрятанные в казематы, сговориться сумели евреи, чтобы речи крамольные перед следователями говорить да требовать, чтоб в протокол их вносили.

...Да если бы одно это портило кровь членам «Комиссии».

На запросы-то об убиенных младенцах отовсюду ответы поступать стали, и конфуз один для следователей из тех ответов выходит.

Помещик, правда, один сообщил: точно, бежала от него крестьянка по имени Настасья с двумя сынами малыми, да как в воду все трое канули. Ну, Шкурин со Страховым возликовали безмерно: вот, стало быть, те два мальчика, про коих Терентьева показывает, что на базаре их встретила и к Берлиным заманила! Ан, по уточнению оказалось, что пропажа та у помещика лет на семь-восемь позднее произошла. Не те, стало быть, были мальчики...

От других двух мальчиков и двух девочек, что в корчме Шолома были замучены, тоже не осталось никаких следов, словно и не жили на свете!

А если и вправду не жили?..

Морщит лоб от великой мозговой натуги подполковник Шкурин, и видится ему, как, брюхо надрывая, приседая от смеха, по лямкам себя лупцуя, хохочет Хаим Хрипун.

— Ой, не могу, — кричит, — уморили вы меня, господа следователи! Были ли вообще мальчики и девочки те?

Заседает «Комиссия», бумаги молча перебирает. Страхов Шкуруину в глаза испытующе смотрит: твоя, мол, затея, флигель-адъютант паршивый! Тоже мне со столичными советами явился! «Широта! Охват!» Вот и расхлебывай теперь твою широту!

Шкурин, однако, глаз не отводит, холодный блеск в них и решимость в лице, даже мягкий округлый подбородок его квадратным сделался, и ямочка, выдающая мягкость характера, вовсе изгладилась. «Не думаешь ли ты, вошь провинциальная, — весь вид его говорит, — меня козлом отпущения сделать? Может, на покровителя своего князя Хованского надеешься? Так не забудь, что мои покровители у самого подножья трона сидят! Ага, заметались, забегали волчьи глазки твои! Испарину ты уж со лба утираешь!..»

И снова добродушен флигель-адъютант Шкурин, снова подбородок его привычные округлые очертания имеет, и на месте своем законном ямочка, выдающая мягкость характера.

— А как вы полагаете, господин Страхов, в чем сила евреев, с коими мы столько лет бьемся, а одолеть не можем? В том, голубчик, что они друг за дружку держатся! Вот и нам, господин следователь, друг за дружку надобно держаться, потому что в деле сем мы с вами одной веревочкой повязаны, и как только поврозь станем действовать, так вернее оба и пропадем.

— Так-то оно так, господин подполковник, — отвечает невесело Страхов, — только думается мне, что и без того уж мы с вами пропали. Помните ведь повеление государево: «Узнать, непременно, кто были несчастные сии дети. Это должно быть легко, есть ли все это не гнусная ложь». Вот ведь как вопрос поставлен: либо подай детей убиенных, либо ложь все! А ежели ложь, то мы с вами, господин флигель-адъютант, последние олухи, потому как темные бабы нас за нос четыре года водят.

И замолк при этом следователь Страхов, и ничего не ответил ему следователь Шкурин: оба молитвенно руки сложили и взоры свои на портрет государя, что стену ликом своим благостным украшал, устремили.

Государь ты наш, батюшка! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая! Ты ж самодержец наш!.. Не вели, государь, казнить, вели слово молвить. Через усердие наше великое, через старание чрезмерное, через бдение наше в угоду высказанным и невысказанным велениям твоим пропадем теперь! Помилуй, государь, детей твоих неразумных! Неужто, государь, будешь ты суров с нами из-за каких-то паршивых евреев?!

Глава 20

И — словно не государь даже, а Всевышний сам услышал смиренный глас сей. Словно Христос сжалился над заблудшими овцами своими и послал ангела своего ради их спасения и вящего уличения неверных.

Ибо предстал вдруг перед «Комиссией» длинный, тощий, согнутый как вопросительный знак, в рубище рваное, вонючее выраженный, ангел Божий Антон Грудинский.

Обещали мы поведать о нем в самом начале повести нашей — вот и пришла пора обещание исполнить.

Ах, Антон, Антон, голь ты несчастная! Не был бы ты сейчас вовсе Антоном, а оставался бы ты просто Ароном, как нарекли тебя при рождении несчастном твоём. Оставался бы ты, говорю, Ароном, кабы не обычай местечковый еврейский — детей без спроса друг на дружке женить. Нареченную-то свою Хасю ты ведь только под хупой впервые и увидел. Выгодную сделку отец твой — голь перекатная — с отцом невесты твоей заключил, ибо вместе с Хасей отошла к тебе и торговля скобяным товаром. Только — увидел ты Хасю под хупой, и отшатнулся в диком испуге, и не мила тебе стала торговля скобяным товаром. Лицо-то у Хаси красное, мятое, как жеваный помидор; глазки жиром заплыли, нос, словно кукиш с маслом, лоснится, и зуб кривой желтый изо рта высунут.

Ладно, к жеваному лицу Хасиному ты бы как-нибудь притерпелся, Антон, то есть тогда еще просто Арон, да пищи стала от тебя Хася требовать.

Детишек горазда оказалась Хася рожать, подзатыльников им раздавать; дом на себе держит да торговлишку скобяным товаром в лавчонке ведет. Ты и оглянуться не успеешь, Арон, как новый ребяенок писк поднимает, рот огромнейший разевает. А скобяным товаром, Арон, ребеночка-то не накормишь.

Ну, Хася твоя, Арон, не промах, Хася с товаром кой-как управляется, да детишек кое-как кормит, да и ты, Арон, тоже не голоден. Только сердится Хася на тебя, велит и тебе пищу для

семейства добывать. А где тебе пищи добыть, когда ты такой длинный и нескладный, и руки у тебя словно из глины вылеплены, все из них вываливается.

Пыталась Хася тебя к торговле скобяным товаром приспособить.

— Хоть какая-то польза, — говорит, — чтоб от тебя была.

Ну, торговал ты, как всякий торгует, только выгнала тебя Хася из лавки через четыре дня.

— Чтоб мне, — кричит, — столько грехов на том свете насчитали, сколько прибыли твоя торговля принесла!

Так и жили вы с Хасей, Арон. Торговля скобяным товаром — она; детишек рожать — она; кормить их, обмывать, одевать — тоже она; дом содержать — снова она. А ты из угла в угол ходишь, со стула на скамью пересаживаешься, руки свои глиняные в рукава прячешь.

Кажется, хорошо?

Все бы хорошо, если б не характер Хасин. Пока в лавочке скобяной сидит, так нет ее. А как придет в дом — волчицей на тебя набрасывается. И дармоед ты, Арон, и бездельник, и в огне бы тебе гореть, и голову бы сломать, и для погибели ее ты на свете живешь. И только бы словами тебя донимала!.. То тарелку тебе в голову бросит, то скалкой промеж лопаток огреет, а то и за кочергу схватится. И чем тише, чем печальнее, чем беззащитнее смотришь ты на нее грустными глазами твоими, тем пуще злится неразумная женщина.

— Хоть ты бы исчез куда-нибудь, несчастье ты жизни моей! — кричала на тебя Хася.

Ну, ты и исчез, Арон.

Соскользнул в одну теплую лунную ночь с супружеского ложа, на коем Хася твоя, утопая в высоченных перинах, после тяжелого трудового дня постанывала, очистил кассу скобяной лавочки, что в особом ящике комода хранилась, и зашагал ты, Арон, прочь от местечка Бабовны длинными, как у журавля, ногами твоими!

На тяжкую долю обрек ты себя, Арон Грудинский, ибо руки твои так и остались глиняными, ни к какой работе не приспособленными, и брюхо твое, Арон, все больше пустым оставалось, и просыпаясь поутру, не знал ты, где приклонишь голову свою ввечеру.

Не раз подумывал ты, Арон, восвоеси воротиться. Однако, как вспомнится тебе мятая физиономия Хасина, да тарелка, метко рукою ее в голову твою запущенная, так затянешь ты потуже веревкой лохмотья на чреслах твоих, сверкнешь погасшим взором и скажешь в сердце своем, припомнив вдолбленные в тебя хмурым меламедом слова величайшего из пророков:

— Лучше свободным замерзнуть в пустыне, — скажешь ты, — чем горшки с мясом принимать из Хасиных рук!

И замерз бы ты, Арон, в кусок льда бы ты обратился, если бы не подобрала тебя у порога дома своего, одиноко среди полей стоящего, добрая душа Зося.

Не гордой вовсе оказалась полячка-вдова, тебя подбравшая. Собственными руками белыми в баньку истопленную она тебя сволокла, лохмотья вонючие с тебя сорвала, венчиком душистым березовым косточки твои поразмяла, в бельишко, что от мужа-покойника осталось, всунула, да в собственную свою постельку спать уложила.

Прижился ты, Арон, на хуторе, и любовью великой воспламенилось к тебе одинокое Зосино сердце. Щедра на ласку оказалась Зося-вдова, не то что мегера Хася. Как приласкает тебя и приголубит, и ну сладкие речи тебе говорить.

— Я, — говорит, — Арон, удержать тебя при себе вовсе и не мечтаю. Молод ты, сокол мой, а я старухой скоро стану, даром что в матери тебе гожусь. Как надоем тебе, так и уходи, я поплачу только, а слова худого вслед тебе не скажу и помысла худого о тебе не помыслю. Об одном душа моя, Арон, сокрушается, что помру я, и ты как пришел сюда нищим, так нищим и останешься. Вот кабы был ты законный мой муж, то хутор после меня к тебе бы отошел!..

— Глупости ты говоришь, Зося, — возражал ей Арон. — Рано тебе еще помирать, к тому ж я еврей, а ты христианка! Нешто ты еврейскую веру, — ухмылялся Арон, — примешь, как Марья Терентьева, что в городе Велиже, говорят, детишек резала?

— Тебе все шутки шутить! — возражала Зося. — В еврейство мне поздно уж переходить, а вот тебе бы веру Христову принять! И достояние мое к тебе отойдет, и душу свою спасешь, и сожителство наше грехом не станет, и дело это святое, что ты через меня в веру Христову перешел, мне тоже зачтется. Глядишь, в рай Господь нас по милости великой своей и доброте определит, и мы с тобою в раю опять повстречаемся...

Такую вот ерундовину, уставши от ласк любовных, плетет баба в постели пуховой, к Арону телом своим горячим жметя, и хорошо Арону речи те слушать, да над глупой вдовой незлобно подтрунивать.

Только занемогла вдруг вдова, аж согнулась вся. И в правом боку у ней колет, и сердце заходится, и задыхается по временам. Тает, желтеет вдова на глазах Ароновых и все чаще, настойчивей речи ведет к тому, значит, чтобы креститься Арону, обвенчаться с нею да хутор ее унаследовать.

А Арон-то не прочь! Арон-то для куража и кокетства одного упрямятся! У него ведь в душе стойкое отвращение к Талмуд-Торе, а с нею и ко всем обычаям-законам еврейским.

Пятилетним мальцом Арончика к меламеду в смрадную избку отвели, да не было радости ему от учения. Другие-то дети — кто ситничек с собой принесет, кто сыру или творогу, да как начнут в перерыве жевать, а у Арончика слюнки текут и голова от голода кружится — пойдет ли на ум учение? Меламед сердится; то линейкой по пальцам бьет, то цепелинкой протянет, а то и на горох коленками поставит. А сколько раз лоза березовая заднее место Арончику щекотала!.. Одна радость — суббота, когда в хедер не надо бежать, и стол скатертью белой накрыт, и отец, что все дни сердит и озабочен, в субботу весел и добр, шутит, молитвы нарасспев произносит, и свечи субботние празднично горят, создавая радость и уют в убогом жилище.

Так что же — по воскресеньям что ли свечи хуже горят, чем по субботам?

Париж, черт возьми, стоит обедни — это великим человеком сказано! И пусть тех слов не слыхивал никогда Арон — до их смысла собственным умом дошел. Ну, а хуторок зосин — не тот ли же Париж для замерзавшего недавно бродяги?

Ан, коварству женскому укажешь разве предел! Едва обвенчался Арон, то есть уже Антон Грудинский с Зосей-вдовой, так все хворости ее и улетучились!

— То ангел небесный здоровье мне воротил за богоугодное дело, — смеялась Зося. — Теперь до ста лет буду жить!

Слово за слово, и призналась законная жена Аронова, то есть теперь Антонова, что и не хворала вовсе, что хитрость то с ее стороны была, ложь во спасение! Ибо шибко полюбила она Арона, то есть Антона, и о душе его заблудшей да об адских муках, на том свете ему уготованных, сердцем своим изболелась.

— Как говорила тебе, так и скажу, — шептала Зося, лаская своего Антона. — Уйдешь от меня — не попрекну ни словом, ни помыслом. Мне и того довольно, что ты теперь в истинной вере, и в раю мы с тобой опять повстречаемся.

Ничего не возразил ей Антон, только шибко задумчив стал. Зачем же надо было хитрить? Ведь он и так бы в веру ее перешел — что ему та вера! И незаметно, по капле малой, густая злоба в сердце антоновом стала копиться. И мысль привязчивая воз-

ника. Долго мучился той мыслью Антон, гнал ее от себя, да она с другого боку в душу влезала. И житья не стало ему от той мысли, и решился однажды.

Соскользнул ночью глубокой с супружеского ложа и воротился назад с топором...

Зося мирно спит в высоких перинах. Седеющие волосы по подушкам раскиданы, на усталое после любовных утех, почти старушечье лицо матовый свет луны, пробивающийся сквозь неплотно притворенные ставни, сетку тонких морщинок, словно вуальку, накинул; слабого дыхания не слышно совсем; только еле заметно пульсирует жилка на шее.

Постоял Антон над спящей Зосей, топор уж над головою занес, да тошнота вдруг подступила к горлу, перед глазами круги пошли, и грохнулся на пол топор из глиняной его руки.

Вскочила в постели испуганная Зося, а Антон Грудинский бежать бросился из спальни супружеской, из теплого домашнего уюту, от стареющей вдовы, от погибели верной — ее и своей...

Не много деньков понадобилось, чтоб в рубище обратилось платье Антоново, а голод и холод еще прежде того железными тисками его охватили, согнули в вопросительный знак долговязую его фигуру. И опять не знает утром Антон, где приклонит голову ввечеру, и убеждается Антон, что на церковной паперти еще меньше подаваний соберешь, нежели в синагоге еврейской. И тяжка Антону жалкая участь его, вдвойне тяжка после зосинога хлебосольства. И целому свету за участь свою отомстить надобно...

— Господа следователи! Я имею заявление сделать.

И тотчас встрепенулся следователь Страхов, воспрял духом флигель-адъютант Шкурин — оба нутром почуяли: то ангел небесный с благой вестью к ним послан; ему ведь и положено — ангелу — в рубище рваном быть да длинный нос еврейский на лице нести.

А писарь, тоже что-то почуявший, уж торопится перо гусиное очинять да ножичком кончик его надвое расщепляет.

— Гиндома цирихим домей акум сельвицвес! — сообщает благою весть ангел небесный Антон Грудинский. — Так называется секретная книга Рамбана, в коей еврейские правила прописаны, как христианских детей замучивать. Книга сия во всякой синагоге есть и всеми евреями усердно изучается.

Глянул тут Страхов пылающим взором в глаза Шкуруину, глянул Шкурин ликующе в глаза Страхову. ...Остановись, мгновение, ты Прекрасно! Вот он, миг торжества! Вот награда великая за по-

несенные труды! Как мудр государь император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая! Кабы не приказал все школы еврейские печатями запечатать, так уж, верно, припрятали бы ту книгу евреи: они ведь, известно, всегда друг за дружку стоят. А теперь-то все проще пареной репы! В каждой синагоге, в каждой школе и молельне еврейской книг-то всяких — о-го-го! Нарядим-ка полицейских, пусть печати снимут да книги те поскорее доставят.

А Антона Грудинского накормить-напоить надобно. Да рубище смердящее приличным платьем заменить! Давно ведь уж ищет «Комиссия» книги те секретные, специальные суммы для этой цели ей выделены. Вот на счет этих сумм и привести в Божеский вид ангела-доказчика можно...

И — куда девался согнутый, как вопросительный знак, нищий оборвыш с впалой грудью, свалявшимися волосами и длинными грязными пальцами, вылезавшими из полусгнивших лаптей! Где лихорадочный нездоровый блеск в воспаленных, измученных голодом и недосыпом глазах? Отъелся и отоспался Антон, как не отъедался и не отсыпался с той самой поры, когда убежал с вдовьего хутора. Чист теперь Антон и опрятен — хоть снова ступай под венец!

Вот следовательно Страхов по левую руку от Антона сидит. Сколько людишек заваливающих может он на ноготок свой розовенький положить, другим ноготком прижать да кишочки и выпустить! А как сжался весь, как впился в Антона волчьими своими глазками!..

Антон вроде и не глядит на него, да боковым зрением все подмечает. Неторопливо, спокойно, с нарочитой даже медлительностью берет Антон книгу из груди; перед собою кладет; открывает. И каждое движение его Страхов взглядом нетерпеливо-просительным провожает. Долго листает книгу Антон, губами шевелит.

— Ну, эта? Эта книга, что ли? — спрашивает взгляд Страхова.

Словно дразня его, покачивает головой Антон. Книгу в сторону отодвигает, не спеша за другой тянется. И как собачонка, ждущая куска от хозяйских щедрот, следовательно ожидающим взглядом руку Антонову сопровождает. Ну? Эта? Эта? Может быть, изволит, наконец, рука Антонова бросить сахарную косточку?..

А справа от Антона сам подполковник Шкурин сидит, не кто-нибудь — флигель-адъютант государев! Эполеты золотом отливают, полные розовые щеки пышут здоровьем. Усы щеголевато подкручены. Тонкими французскими духами благоухает. Ежели по-

желает подполковник, так весь Велижград заваливающий может на ноготок свой розовый уложить! А ведь точно как Страхов: надежду на одного Антона Грудинского теперь имеет и так же по-собачьи каждый жест его провожает...

«Ну, что скажешь, мегера Хася? Это тебе не тарелки в голову бросать!» — ухмыляется Антон и чувствует, как, заметив ухмылку его, подобрался слева от него Страхов и как напряжился справа от него Шкурин.

— Эта? Эта, что ли? — не выдерживают оба. Медленно поворачивает в левую сторону длинный свой нос Антон Грудинский, бывший Арон, долго вопросительно смотрит в глаза следователю Страхову, потом поворачивается вправо, смотрит в глаза подполковнику Шкуруину.

— Не худо бы закусить, господа, на голодный желудок много не наработаешь!

День, неделю, месяц перебирает книги Антон Грудинский. Тепло и сытно Антону и спешить ему нет никакой надобности.

Однако все больше нетерпения проявляют господа следователи, все чаще переглядываются за его спиной, и невысказанная тревога в их взглядах: уж не насмеяется ли над ними эта, хоть и перекрещенная, а все ж несомненно жидовская морда...

— Я вижу, вы не доверяете мне, господа, — спокойно произносит Грудинский. — Между тем, книга, о которой я имел честь вам доложить, имеется. Вот она, господа, держу ее в руках.

— Не может быть! — подскакивает Страхов.

— Невероятно! — приподымается Шкурин.

— Гиндома цирихим домей акум сельвицвес! — отчеканивает Грудинский, стучая твердым глиняным пальцем по твердому переплету. — Сочинение равви Рамбана. Не угодно ли ознакомиться с содержанием сего сочинения, господа? После обеда, конечно. Время, господа, закусить! А после обеда приступим к переводу наиважнейших мест. Могу, между прочим, и инструменты, в этой книге описанные, какими совершается злодеяние, изобразить, потому как не раз оные видывал...

И новая теперь работа пошла у Антона Грудинского!

Опять он сурового меламеда добром вспоминает, и из книги той переводит. Писарь пером скрипит, лист за листом диктовкой Грудинского заполняет. А следователи внимают, и волосы на головах их шевелятся. Книга-то, оказывается, такими деловыми подробностями наполнена, словно не об убийстве детей христианских, а об обычной какой-то работе в ней говорится. Кажется, у

любого изверга заледенеет душа, а евреям — хоть бы что! Даже «Комиссия» не ожидала от них такого хладнокровного зверства. Все от пагубного учения их! Они же себя избранным народом почитают, а других вовсе за людей не признают. Вот и нет им разницы, что скотину резать, что детей христианских.

И мчит уже курьер, нещадно загоня лошадей, донесение в Витебск, генерал-губернатору князю Хованскому. А из Витебска другой курьер летит в Петербург — к начальнику штаба его императорского величества барону Дибичу. А барон Дибич в неурочный час о новости необыкновенной, вековую тайну разрешающей, государю императору Всероссийскому торопится доложить.

— Хотя подполковник Шкурин и предполагает, что одна нищета и ожидание награды побудили Антона Грудинского открыть сию ужасную тайну, тем не менее, не угодно ли будет Вашему величеству признать поступок означенного выкреста заслуживающим всяческих похвал и, дабы побудить его к дальнейшему рвению, не сочтете ли соответствующим видам правительства примерно его наградить?

— Всенепременно, барон! — отвечает государь. — И подполковника Шкурина — тоже. Пусть все видят, как награждает русский царь верных своих подданных! Пусть подполковник Шкурин самолично доставит выкреста в Петербург вместе с его книгой. Затосковал, небось, флигель-адъютант в этом еврейском Велиже, так ему случай поразвлечься в свете. Рассказы про ужасы жидовские принесут ему немалый успех у дам.

А подполковник Шкурин, едва донесение о необыкновенных показаниях Антона Грудинского отправил да опомнился малость, как шлепнет себя рукой по лбу:

— Как это, — кричит, — мне раньше мысль сия в голову не приходила!

И только начал мысль свою следователю Страхову излагать, тот тоже — хлоп себя по лбу:

— Мне-то, мне-то, — кричит, — почему мысль сия за столько лет ни разу в голову не пришла!

Вечером, правда, когда сидели за чаем, учитель Петрища их несколько охладил. Выслушал, покачал головой, огладил бороду белой своей рукой и начал, как всегда, неторопливо, негромко и вкрадчиво:

— Нет, господа, воля ваша, и ежели этот Антон Грудинский такую услугу делу оказал, то тем лучше, однако же с выкрестами сугубая осторожность надобна. Доверять им нельзя. Это ведь

только говорится так, что все зло еврейское в вере их басурманской; окрести, мол, евреев, и мигом злодейства их прекратятся. Точно крещением носы их длиннющие укоротить можно. Иной примет христианскую веру, а поди скажи что при нем супротив евреев — глотку готов перегрызть. «Как вы смеете, кричит, а еще образованным человеком считаетесь!» Вы ему про случай конкретный. Как еврей, к примеру, вашего знакомого купца на ярмарке облапошил. А он вам свое: «Правильно ли ваш купец факт изложил — это еще проверить надобно. Может, и наоборот было: он сам еврея обжулил. Вы, дескать, только одну сторону выслушали и уже вывод делаете. А если и верный тот факт, то кто вам право дает на целый народ его переносить? Евреи, мол, люди, а не ангелы; есть среди них и жулики, и злодеи, и воры, так ведь такого добра в любом народе достаточно. Почему, говорит, вы отказываете евреям в праве иметь своих негодяев? Разве не попадают среди русских убийцы, насильники, мошенники? Не говорите же вы, что все русские-убийцы оттого, что один — убийца». Послушаешь такого выкреста, так евреи ничуть христиан не хуже! Зачем же ты, спрашивается, Святое крещение принимал? Может, для виду только, чтобы сподручнее было еврейство выгораживать да доверчивым христианам вредить? Оно, конечно, отмахиваться от них не след. Иные ведь прежних единоверцев своих лютее, чем коренные христиане, ненавидят и всякие предприимчивости еврейские наисильнейше изобличают. Взять хоть для примера бывшего раввина, что книгу эту наиполезнейшую сочинил, — и Петрища огладил белой рукой книгу, лежавшую перед ним на столе.

Книгу он давно уже вторично вслух для подполковника Шкурин перевел, но всякий вечер приносил с собой — то ли по укоренившейся привычке, то ли на всякий случай: вдруг господу следователи захотят что-либо припомнить или уточнить.

— Опять же — Антон Грудинский, — напомнил Страхов.

— Да! — согласился Петрища. — Так что действия ваши, господа, я всецело одобряю, но насчет общего *принсипа* согласиться никак не могу. Осторожность надобна с выкрестами. Сугубая осторожность! — и он стал большими глотками допивать остывший чай.

Подполковник Шкурин большущее уважение к учителю Петрище испытывал. С тех пор, как появился он в Велиже да познакомил их Страхов, они втроем вечера коротали. Страхов все уговаривал Петрищу сказки про жида вороватого флигель-адъютанту пересказать, но только отмахивался да отшучивался на это Петрища. Проницательным взглядом своим он углядел в Шкурине иного полета птицу: такая на сказочки не клонет.

К философским рассуждениям склонность имел флигель-адъютант, и нередко целые ученые диспуты возникали у них за чаем. Подполковник линию представляемой им власти обосновывал, а учитель вкрадчивым голосом своим не то чтобы возражал ему — такой крамолы, чтобы властям возражать, учитель себе, конечно, не позволял — а все же как бы некоторые сомнения высказывал.

— То, что малолетних детей у евреев теперь в рекруты забирают, это хорошо, — рассуждал Петрища, прихлебывая чаек. — И то, что там, в службе, их добровольное крещение принимать побуждают, это еще лучше. Тут супротив ничего не скажешь — что можно сказать супротив? Однако ежели правительство те виды имеет, чтобы через рекрутскую повинность весь быт еврейский преобразить и нравственность сего зловредного племени улучшить — тут, господин подполковник, я сомнение большое имею, ибо знаю, как крепко евреи за законы свои держатся.

— Так ведь рекрутчина — только одна из мер правительства, — напоминал ему Шкурин. — Частная, так сказать, мера. Вы про главное не забывайте. Главное — это черта! Чтоб не расползлась еврейская зараза по всей России. Ведь за пределами бывших польских да малороссийских губерний евреям селиться не дозволяется. Да и в самих сих пределах власть, как вы знаете, не оставляет их без бдительного попечения. Вот повеление есть: из приграничной полосы, в пределах пятидесяти верст от границы, евреев всех выселить! Чтоб сношение их с единоверцами других стран пресечь!.. Опять же старается власть из сел и деревень в города и местечки их вывести, чтобы, значит, от мужиков их пагубное влияние отвратить. А из городов тоже будем выводить. Из Киева вон уже вывели. Теперь Севастополь и Николаев на очереди.

— Гнать — это хорошо, оглаживая нежной, почти девичьей рукой бороду, задумчиво соглашался Петрища. — Только при этом большая твердость требуется, а твердости-то нам часто и недостает. Вон гнали их тут из деревень — хорошо. А как начали они болеть да помирать сотнями, скученные в городах, так сам же наш генерал-губернатор князь Хованский, по безграничному христианскому милосердию своему, приостановить то изгнание всеподданнейше запросил. И остается тот благодетельный приказ государя неисполненным. Опять же посудите: ну, выгоним мы их из деревень, так они ж города переполнят! А выгоним из городов — они по деревням разбредутся...

— Ну, хорошо, — горячился Шкурин. — А вы-то что предлагаете?

— Я-то предложил бы, — прикрыв глаза и оглаживая белой нежной рукой бороду, отвечал Петрища, — да человек я маленький, кто меня станет слушать?

— Ну, а все же, все же. Мы ведь с вами в философском плане рассуждаем. Что бы вы предложили сделать, господин учитель, если бы, к примеру, вас вытребовали в Петербург да сам государь бы вас принял и сказал бы: «Господин Петрища! Слышал я, что ты евреев хорошо знаешь и свое мнение по еврейскому вопросу имеешь. Как ты посоветуешь твоему государю с племенем сим зловредным поступить?» Что бы вы на это ответили?

— На это? — задумался Петрища. — На это я сказочку про жида вороватого государю бы рассказал.

— Сказку! — оживился давно уж скучавший Страхов и хлопнул себя по коленке.

— Нет, господин Страхов, — обратился к нему Петрища. — Не такая будет сказочка, какую вы ждете. Не веселая это сказочка и очень короткая. Слушайте.

ЧЕТВЕРТАЯ СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТОГО

— Ехал офицер проселком, в корчме еврейской приставших лошадей сменить остановился, да у корчмаря Ицки, жида вороватого, не достало лошадей.

Петрища замолчал, стал не спеша прихлебывать чай.

— Ну, и что офицер? — нетерпеливо спросил Страхов.

— Офицер, конечно, рассердился, — не торопясь продолжал Петрища, — и недолго думая, заложил в пристежку самого Ицку, жида вороватого. Ну, хорошо, это ничего. Ицка — везет. Но офицеру этого мало, он Ицку давай кнутом погонять. Хорошо, и это ничего: Ицка — везет. Офицер погоняет, да весело ему стало. Он и кричит Ицке:

— Завивайся! Завивайся!

— Ну, хорошо, что делать Ицке? Начал он завиваться на пристяжи. Завивался, завивался, потом затянулся, надорвался и — помер.

Петрища помолчал, посмотрел цепким взглядом своим на Страхова, явно разочарованного краткостью сказки, потом на Шкурина, и спокойным вкрадчивым голосом своим закончил:

— Вот вам, господа, окончательное и полное решение вопроса. В философском то есть аспекте.

— То есть, как это понимать? — спросил Шкурин. — Вы что же — предлагаете всех их... *того*?..

— *Того*, — кивнул Петрища. — По моему то есть разумению.

— И стариков, и женщин, и детей... малых? — горло Шкуруину чем-то сдавило, и слова выходили с трудом, с каким-то шипением.

— Старикам все одно помирать, а детишек невинных жалко, — спокойно сказал Петрища, оглаживая бороду белой, почти девичьей рукой. — Только ведь если детей оставить, они вырастут и сызнова расплодятся.

— Нет, господин учитель! Нет и еще раз — нет! С этим мы никогда не согласимся! — Шкурин от волнения встал из-за стола и заходил по комнате. — Народец этот поганый, тут у нас с вами спору нет. Однако промысел Господен сохранил же его для какой-то надобности в течение стольких столетий. Пути Господни неисповедимы, и нам остается только подчиниться воле Всевышнего и позаботиться о сохранении сего вреднейшего из народов.

— Ну, ежели вы так вопрос ставите, — ответил вкрадчивым голосом своим Петрища, — то я вам в том смысле возражение могу сделать, что, может быть, Господь для того и сохранил евреев, чтобы нашими руками с ними покончить. Наш народ русский — главная опора истинной веры православной, вот нам, может быть, честь эта и предоставлена! В народе-то силища вон какая таится. В том все только дело, чтобы силе той верное дать направление.

— Направление! Вот именно: направление! — подхватил вдруг с неожиданным азартом Страхов. — Как вы это умеете, господин учитель, так ловко все выразить! Мне вот только неясно одно: как быть с выкрестами? Их и теперь уже порядочно развелось, а ежели мы станем их... *того*, так они валом в христианство повалят. Не все же такие упорные, как Хаим Хрипун! А ежели еврей христианство примет, так он уже как бы и не еврей, по закону-то. Его уж не только нельзя будет... *того*, а и в черте не удержишь. Вот и расплзутся они со своими жидовскими предприимчивостями по всей России!

— С выкрестами сложное дело, — подумав, согласился Петрища. — Я бы их тоже всех... Я бы по носам! Носы бы измерял, и у кого длиннее положенного, *того*, значит... *того*. Вы правильно изволили заметить, господин Страхов: сегодня он выкрест, а завтра опять в иудейство воротится. Лучше уж всех. Оно спокойнее будет. То есть сперва, конечно, упорных иудеев надо... *того*. Выкрестам же, напротив, всякие милости и льготы обещать — при условии, что они свою преданность христианству делами докажут. Вот и

будут они из кожи лезть, всякими предприимчивостями помогая нам отыскивать и уличать евреев! Большая польза от этого может произойти. Пока силы есть у Ицки вороватого, пусть везет. А надорвется, тогда и... *того*.

— Значит, польза от выкрестов может быть? — спросил Шкурин.

— Ежели соблюдать сугубую осторожность.

Глава 21

«Комиссия» донесение генерал-губернатору отправила, а генерал-губернатор, всегда «Комиссии» помочь готовый, циркуляр по трем подвластным ему губерниям разослал: образованного выкреста из евреев разыскать да в Велиж доставить.

И вот уж на месте Антона Грудинского сидит между подполковником Шкуриным и следователем Страховым ксендз Подзерский — маленький, пухленький, в больших очках на неожиданно крохотном, кругленьком и твердом, как орех, носике. Пухленькими ручками книги перебирает, «Дело» листает да все на стуле своем подпрыгивает. То к следователю Страхову, то к подполковнику Шкуру наклоняется и говорит, говорит без умолку, словно горох сыпет:

— Что да, то да, господа следователи, а что нет, то нет! Разве я скажу «нет», если «да», и «да», если «нет»? Таки правильно господин Грудинский из книги вам переводил! Что да, то да! То есть я вам таки скажу: чтобы звезды с неба сгрести, так совсем нет! Меламед, я думаю, мало стегал господина Грудинского по мягкому месту. Что да — то да! Ошибок и неточностей в его переводе столько же, сколько звезд на небе, откуда господин Грудинский их не снимает. Разве я скажу «нет», если «да»? Таки я говорю «да», потому что в книге этой таки написано про кровь и про ножи, и в какое место ножи надо всаживать, чтобы кровь до последней капли вытекла. Это — да! А если да — то да! Разве я скажу «нет», если «да»?

Страхов и Шкурин торжествующе переглянулись за спиной Подзерского.

— Но тут возникает маленькое нет! — с жаром продолжал ксендз. — Ибо «гандома», как изволил прочесть господин Грудинский — слово вообще не еврейское и ничего не значит. «Цирихин» надо читать как «цирихим» — по-еврейски «нужно», «домей» — правильно будет «демей», таки означает «кровь», а «акум» — язычник. Остается — «сельмицвес». Это похоже на «шельмицвот», что означает «заповедей». Таки получается: «нужно кровь язычник заповедей». Как вам это нравится? Таки я же говорю: нет никакого смысла. Ни у Рамбама, ни у других еврейских писателей вы такой книги таки не найдете. Что нет — то нет. Разве я скажу «да», если «нет»?

При этих словах Страхов и Шкурин переглянулись с недоумением.

— Что же это за книга, из которой переводил вам господин Грудинский? — поворачиваясь направо и налево и все более увлекаясь своей диалектикой, спросил ксендз и тут же ответил. — Это книга об убое скота! Что да, то да: такая книга есть в любой синагоге, потому что еврей скорее умрет с голоду, чем съест кусок говядины, если он не уверен, что корова забита по всем правилам. У евреев строго на этот счет! Вы спросите, зачем такие строгости? Так я вам скажу: сколько я учился Талмуд-Торе, никак не мог этого понять. Я таки стал думать! Я стал сомневаться. И вот вам результат: я принял Святое крещение и имею честь быть сейчас с вами. — Ксендз одарил следователей лучезарной улыбкой, обнажившей крупные желтые зубы.

— Вы хотите сказать, что Грудинский только морочил нам голову? — спросил осторожно Шкурин, все еще надеясь, что не понял того, о чем тараторил ксендз.

— Таки нет! — подпрыгнул на стуле Подзерский. — Я не хочу этого вам сказать! Но я принужден вам это сказать, если вы хотите знать правду.

— Не может быть! — вскричал, вскочив со своего места, следователь Страхов.

— Никак невозможно! — воскликнул, поднимаясь, подполковник Шкурин.

Но ксендз твердил свое:

— Что да, то да, а что нет, то нет! Разве я скажу «да», если «нет»?..

Позвали Грудинского. Он на своем стал стоять, но вскочил тогда со стула и ксендз Подзерский, да как забегает, как забегает по комнате, размахивая короткими пухлыми ручками и что-то выкрикивая по-еврейски... Под этими выкриками поник головой ангел небесный Антон Грудинский и признался, что злую шутку разыграл над господами следователями...

Услышав сии слова, Шкурин бледностью мертвенной покрылся да голову руками обхватил. Ведь еще день-два, и повез бы он Антона Грудинского в Петербург на собственное свое посрамление...

А следователь Страхов кулачки маленькие сжал, затравленно озирается да как подскочит вдруг к ксендзу:

— Ах ты, еврейская морда, — кричит, — еще ухмыляться вздумал! Может, ты скажешь, что кровь христианская вовсе евреям не требуется, и обвиняем мы их по одному средневековому предрас-

судку? Смотри у меня! Нацепил крест на пузо и думаешь, мы твою еврейскую душу не распознаем!.. Еще разобраться надобно, какой ты ксендз и не кагалом ли ты к нам подослан!

Насилу Шкурин меж ними протиснулся да Страхова от бедного ксендза оторвал. Подзерский мячиком в дальний угол откатился, тяжело дышит, запотевшие очки тщательно стал протирать, и такое виноватое, жалкое лицо у него без очков сделалось, что даже Страхов, подталкиваемый, впрочем, Шкуриным, остыв после вспышки своей, пробурчал что-то похожее на извинение.

В суматохе все трое не заметили, как исчез куда-то ангел небесный Антон Грудинский, да ведь ангелам так и положено — ниоткуда являться да в никуда исчезать. Да и кому он теперь был нужен!

Водрузив на свой кругленький носик очки, Подзерский обрел вид почти прежней уверенности, но в голосе его уже не было азартного оживления.

— Что да, то да, разве я скажу «нет», если «да»? Напрасно вы горячитесь, господин Страхов. Вы хотите, чтобы у евреев была тайна крови? Таки да. Разве я скажу «нет», если вы хотите, чтоб было «да»! Не кагалом, господин Страхов, а таки генерал-губернатором князем Хованским я к вам в помощь послан, а как смотрит на дело князь Хованский, вы таки знаете! Неужели я стану плевать против ветра? Вы обо мне нехорошо таки подумали, а о том, что, может быть, напротив, Антон Грудинский евреями к вам подослан, чтобы мнимыми разоблачениями все ваше дело запутать и погубить, об этом вы не подумали. Ага, господин Страхов, вы таки изумляетесь! — опять оживился ксендз. — Так я таки прав: такая мысль вам в голову не приходила! Что нет, то нет, и не говорите «да», если «нет». Мозгами надо шевелить, господин Страхов! Вы думаете, почему евреи такие умные? Таки потому, что мозгами шевелят. Кто шевелит мозгами, скажу я вам, тому нет-нет, а таки да: мысли в голову приходят.

И зашевелила мозгами «Комиссия». По совету ксендза Подзерского в новом направлении теперь работа ее пошла. В научном, так сказать, научно-исследовательском! Узники в темницах своих томятся, на допросы месяцами никого не вызывают, но «Комиссия» без дела не сидит — исследует.

Самое трудное ксендз взял на себя, как единственный в «Комиссии» знаток языка: книги еврейские изучает, намеки всякие на «тайну крови» выискивает. Ан много ли выищешь, ежели ту тайну заветную евреи в секретнейшем из секретов хранят! На вы-

сокой скале стоит дуб, на дубу сундучок хрустальный висит, в сундучке заяц притаился, а в зайце утка запрятана, а в утке яйцо золотое, а в яйце иголка серебряная, а в иголке той книга секретная, а в книге особым еврейским шифром та тайна зашифрована!.. Много книг еврейских перед ксендзом навалено, да все книги-то — не-секретные. Все Талмуд, да Тора, да комментарии к ним разных ученых евреев. Вон сколько их за тысячи лет накопилось!

С грехом пополам наскреб ксендз из тех книг десяток отдельных фраз. Если крепко над ними подумать, да сзаду наперед прочитать, да наизнанку вывернуть, да в сокровенный их смысл проникнуть, да нужным образом истолковать, то можно таки углядеть в этих фразах пренебрежение «избранных» к прочим народам. Отчего не усмотреть, если очень хочется? Но что да, то да, а что нет, то нет. Даже и в этих фразах не пахнет христианской кровью.

Небогатый урожай собрал ксендз из еврейских книг, зато Страхов и Шкурин преуспели изрядно! Они, по совету ксендза, в иные книги углубились, а чего в книгах не отыскалось, то князь Хованский из архивов судебных за много прошлых веков для них вытребовал. А все, что по-польски писано, учитель Петрища для «Комиссии» переводил. На то специальные суммы «Комиссия» выхлопотала, и, кстати, хорошая прибавка к скудному жалованию учителя вышла. А уж как подначитались-то все!

И про то, как колодцы отравляли евреи, и как чуму с холерой на христианский люд насылали, и как с нечистой силой знали... А о замученных христианах сколько в книгах-то понаписано!

Тут, конечно, не всякому слову верить надобно. Бывали, к примеру, случаи: пропал христианин. Тотчас хватают пяток евреев и — на костер. А христианин-то пропавший — туточки. На площади сквозь толпу протискивается да спрашивает: кого это и за что, мол, жгут? Он, виш, из дому на несколько дней отлучился да ворочается теперь.

Нет, не такие простаки флигель-адъютант Шкурин и следовательно Страхов, чтобы всяким средневековым бредням верить... Однако же не такие они простаки, чтобы и вовсе не верить. В лесу не без зверя, в людях не без лиха, а пословка на ветер не говорится. Это учитель Петрища, усердно с «Комиссией» книги изучающий, частенько повторять любит.

— Дыма без огня не бывает, господа, — говорит он вкрадчивым голосом, оглаживая бороду нежной, почти девичьей рукой. — Пусть не все правда, что мы читаем; пусть только половина правды. Пусть половина от половины. Так ведь и этого довольно, что-

бы каждого еврея, как Ицку, жида вороватого, на пристяжи запрячь и погонять его, погонять, и кричать ему «завивайся», пока не затынется, надорвется да и издохнет...

В царстве-то Польском сколько, оказывается, дел таких было об убиенных христианских детях! И не в седом средневековье — многое на памяти ежели не нашей, то отцов-дедов наших происходило. А как просто, как легко дела делались — позавидовать только!

Вот, к примеру, в селе Ступице младенец трехлетний пропал, да страшно изуродованным трупик его был найден неподалеку от корчмы ясновельможного пана Лещинского, а корчма та содержалась в аренде у евреев. Когда несли мимо корчмы тельце младенца, из всех его ранок вдруг кровушка христианская заструилась. И сразу ясно, кого предать суду! Поверье-то народное известно: сочатся раны убитого в присутствии убийцы.

А как на суде семь подсудимых евреев на все вопросы нахально отрицались, то суд постановил пытку к ним ради выяснения истины применить. Не то что Страхов — носы еврейские квасит, да все с опаской, как бы жалоба до петербургского начальства не дошла. А тут, пожалуйста — пытка постановлением суда!

Первым Эзика Мееровича на кобылице распластали — было у них такое приспособленье пыточное, достижение передовой технологии. А как и на кобылице трижды отрицался еврей, так его на старинную дыбу подняли и, все члены его жидовские вытягивая, вопросы ему задавали.

Он благим матом вопит, а все отрицается.

— Я не убивал, — кричит, — не видел, нигде не был. Раввины меня не уговаривали. Уж лучше мне было голову сложить, чем тому ребенку пропадать. Лучше тому ребенку жить, чем мне такие муки переносить... Ни с кем я не был и сам не убивал. Не знаю, кто его убил, откуда мне знать!.. Ой, вей мир, ой, вей мир гешен! Как дитя пропало, не знаю... Я не знаю, где его держали, не знаю... Лучше мне черта проглотить, чем ту кровь пить... Не знаю, когда мы поймали; серденько милосердный — не знаю; что же мне делать? Кто держал ребенка три недели, не знаю! Как мучили, не знаю! Чем кололи, не знаю! Ой, почему гром меня не убил? Ой, тетеле... В знак чего отрезали руку, не знаю! Пусть мне нож вонзят в сердце, если знаю. Пусть света не увижу! Ни в какой сосуд не наливал. Ой, тетеле! В глаза не видел, ничего не знаю о том, куда дели; дома я сидел... Ой, вей, ой, вей! Что говорили! Правда, правда, что я заслужил... Никто, никто не убивал! Знаю! Не знаю! Не знаю! Знаю!

Ну, что ж, у суда и другие средства есть.

Палач тело жидовское свечами жжет, пока мясом жареным не запахнет, а суд все те же вопросы еврею ставит;

— Не знаю! Гвалт! — кричит Эзик. — Не знаю! Гвалт, голубчики мои. Не знаю, кто убил дитя! Не знаю! Не знаю! Не знаю! Серденько! Не знаю, кто убивал, серденько, не знаю!

Смотрят — он уж в беспамятстве... Ну, что ж! Его из ведра окатили и снова свечами жечь: закон до трех раз попытку повторять велит.

А как и это не помогло, то раскаленным железом правду стали извлекать из еврея. Он связанный корчится, мясо его жидовское, как масло на горячей сковородке, шипит; а он все свое твердит:

— Не знаю, не знаю, батюшки, не знаю! Ой, вей, гвалт! Не знаю, не знаю...

За Эзиком Мееровичем Гершка Давидович через то же самое прошел.

За Гершкой Давидовичем — Беньямин Лейбович.

За Беньямином Лейбовичем — Шмуэль Беньевич.

За Шмуэлем Беньевичем — Абель Якубович.

За Абелем Якубовичем — Псахелем Янкелевич.

За Псахелемом Янкелевичем — Рохля Безносек.

Сломаешь язык от этих имен жидовских!

Так и не сознался никто из подсудимых евреев... Даже Рохля, на что женщина, и та выдержала все... Ну, и пришлось суду мягким приговором ограничиться.

«Вняв гласу права и справедливости и принимая во внимание столько прецедентов в разных судах государства по делам о совершенных евреями, по обычному их вероломству, убийствах и истязаниях христианских детей, суд признает названных неверующих христианской крови губителей, указанного ребенка мучителей заслуживающими смерти... Признавая вышеозначенных неверующих заслуживающими большей кары, настоящий суд, однако, по милосердию своему, смягчил им наказание и приговорил их к отсечению головы. Неверующую же Рохлю Безносек, вдову, настоящий суд оставляет в живых, для изобличения других соучастников убийства и повелевает заточить ее в тюрьму при городской ратуше».

А в Красноставском городском суде какое дело исследовалось! Пятерых важнейших старшин иудейских с раввином Сендером Зыскелюком во главе в убийстве младенца обвинили, а пока разбирательство шло, к ним пастырей христианских для душеспасительных бесед присылали. Вначале узники грубостями либо вы-

сокомерным молчанием пастырям отвечали, но те продолжали богоугодное свое дело и побудили их к некоторому смирению. Дыбу, правда, все пятеро вынесли стойко, но как факелами их стали поджаривать, так и признались четверо в своем злодействе. Один только раввин продолжал упорствовать, а когда пришли за ним, чтоб каленым железом пытаться, то повесившимся нашли его в камере.

Зато с теми четверьмя, что признались, простым отсечением головы уж никак нельзя было обойтись. Не принял бы народ такой снисходительности! Разве что жида всенародно покаются да веру истинную пожелают принять...

Светлейший суд, ясное дело, приговорил всех четверых к четвертованию. А в день самой казни сопровождающие узников священники обратились с ходатайством о милосердии и получили ответ: для согласных перейти в веру христианскую четвертование милостиво заменяется отсечением головы, упорствующим же сохраняется вся суровость приговора.

На площади толпа многотысячная скопилась.

Подъехали четыре воза, на каждом преступник, окруженный стражей. Двое тут же приняли крещение и — надлежаще приготовленные к смерти и помолившиеся усердно только что обретенному новому своему Богу — один за другим покорно положили головы на плаху, под топор палача...

Тогда священники третьего преступника обступили и то ласковыми увещеваниями, то смиренной молитвой и вздохами, да указанием на опасность вечной гибели в геенне огненной после утраты земной жизни достигли, наконец, того, что и над этим упорным евреем Божья милость не пропала даром. Принял он всенародно крещение и под бурное одобрение толпы был лишен жизни через отсечение головы.

А вот четвертый преступник настолько закоснел в еврействе своем, что все старания и увещевания как будто ударяли в глухую стену.

— Бери меня, — гордо сказал еврей палачу и лег на доску для четвертования.

Но тут, по призыву одного из священников, многотысячная толпа пала на колени с молитвою, а другой священник воскликнул, обращаясь к нечестивцу:

— Взмолись хоть теперь к Богу и промолви: «Боже Авраама, Боже Исаака, Боже Иакова, смилуйся надо мной и дай мне по благодати твоей нужное теперь просветление!»

Услышав, что ему предлагается вознести молитву своему старому иудейскому Богу, преступник повторил слова за священником, возвел глаза к небу, и тут произошло нечто, что привело толпу в неопишуемый восторг. Еврей попросил, чтобы его поставили на ноги, и согласился принять крещение.

А мерзкий труп повесившегося раввина палач, согласно приговору, привязал к конскому хвосту, проскакал на лошади с волочащимся сзади трупом через весь город, а затем сжег на костре, а прах развеял по ветру.

А еще в Заславе разбирательство было. Нашли два крестьянина мертвое тело, в болото втоптанное да кучами мусора прикрытое. Народ, как водится, сбегался смотреть, и евреи тоже в толпе. Попович один и сказал им:

— Ваше это дело, жидовское дело!

Стали евреи поповичу возражать, да разве поймешь их? Все вместе кричат, руками размахивают, друг друга перебивают. Такой гвалт подняли — хоть уши затыкай!

Ну, их тотчас похватили да под стражу засадили. Тут один из них, Зарух Лейбович, призвал подстаросту и говорит:

— Зачем мне подвергать себя мукам? Все равно придется все рассказать, так я лучше сразу и расскажу. Я давно мечтал о счастье стать католиком, только случая подходящего не было, а михневский арендатор Гершон Хаскелевич, у коего я служу, мне уж три года жалования не платит. Так я вам всю правду скажу: это он христианина убил.

Пятерых евреев судили вместе с Зарухом Лейбовичем. Долго отпирались те четверо, однако под пытками сознались: и Гершон Хаскелевич, и Мошно Мейерович, и Лейб Мордкович. Один только престарелый Мордко Мордкович через все пытки прошел, но не сознался ни в чем, и даже когда сын его Лейб сказал ему на очной ставке: «Отец! И ты был в деле убийства покойного Антония!», то он продолжал во всем запереться, лишь опустил долу глаза.

Но суд не посмотрел на заперительства злодея. За пролитие христианской крови постановлено было посадить старика живьем на кол и оставаться ему на том колу до тех пор, пока птицы не съедят его тело и не распадутся его бесчестные кости. А если кто осмелится спрятать его кости, говорилось в приговоре, и предать их погребению, то будет подвергнут такой же каре.

Ну и с теми обвиняемыми, признались которые, суд не лучше обошелся.

С Гершона Хаскелевича палач четыре полосы кожи содрал, затем сердце из груди его вынул, разрезал на четыре части, прибил каждую из них гвоздями к столбам и столбы эти расставил вокруг города с четырех сторон. Голову же его посадили на кол и внутренностями тот кол обмотали.

«Все это, гласил приговор, должно висеть до тех пор, пока не будет съедено птицами; костей же его никто трогать не должен. А кто бы осмелился предать их погребению, тот будет той же смертью казнен».

Что же касается Лейбы Мордковича, то ему, сказано в приговоре, следовало бы рвать тело раскаленными щипцами, вынуть глаза, вырвать язык, пригвоздить к столбу. Суд, однако, проявил к нему милость — вероятно, за донос на собственного отца. С него только содрали две полосы кожи, после чего четвертовали, голову посадили на кол и кол обмотали внутренностями.

Ну, а главного доказчика Заруха Лейбовича суд вовсе признал невиновным и от наказания освободил.

А вот в Житомире дело случилось — уж совсем подстать Велижскому по размаху его. До тридцати евреев по нему проходило, только не чикались с ними, как в Велиже. 24 апреля младенец пропал, а 29 мая казнили последних виновников. Тридцать пять дней ушло на следствие, суд да на исполнение приговора! А ведь одиннадцать различных районов было охвачено следствием!

Все как обычно началось: перед пасхой у шляхтича ребенок четырехлетний пропал. Опечаленный отец отправился в костел и упал ниц перед чудотворной иконой Пресвятой Девы, да так и пролежал перед ней всю обедню. А потом встал и в беспамятстве, как бы ведомый какой-то силой, пошел он напрямик в рощу, меж деревьями, не разбирая дороги, шел и прямо на куст наткнулся. Под тем кустом и нашли тело замученного ребенка. А поскольку к несчастному отцу еще сотня лиц присоединилась, то все они чуду тому необыкновенному стали свидетелями.

Епископ Салтык самолично расследование начал, да и установил в тот же день (в тот самый день!), что похитили ребенка, конечно же, евреи, продержали у себя всю субботу, а как кончился их шабаш — приступили к истязанию. Раввин Шмайер проколол ему левый бок перочинным ножом несколько ниже сердца, затем прочел какую-то чертовскую, а вернее, богохульную молитву, а другие безбожники, пока он читал, небольшими гвоздиками младенца кололи, да кровь из него выжимали из всех жил в особую

чашу, да попеременно истязали, загоняя ему под ногти тонкие гвозди, и каждый стремился принять позорное соучастие в гадком злодеянии.

Как стало о всем том простонародью известно, так проявилось такое усердие, что всех житомирских евреев чуть было не вырезали, и много хлопот выпало на долю епископа, чтоб пыл христианский несколько охладить.

А тело убиенного младенца долго в костеле оставалось; но не подвергалось тлению, и вместо зловония особый приятный аромат от него исходил. И аромат этот паче всяких иных улик евреев изобличал.

Потом епископ в суд дело передал, а суд, для полного исследования гнусного деяния злостных убийц, а также еврейского неистовства, затверделости сердца и упорства ума в отрицании своей виновности, постановил, как водится, упорствующих обвиняемых подвергнуть троекратной пытке, после чего вынес решение.

Милостив оказался суд: только шестерых из тридцати обвиняемых приговорил к четвертованию. Казнь, как всегда, вылилась в большой праздник. Сперва шестерых привели на рыночную площадь в самом центре города. Руки им обложили облитыми смолой щепками и обмотали до локтя паклей, а затем подожгли ее. Потом долго вели всех за город, к месту казни. И все это время пакля горела, облитые смолой щепки медленно тлели, и руки ведомых на казнь — обугливались.

При большом стечении народа с приговоренных содрали по три полосы кожи, потом отрубили руки и ноги, тела четвертовали и отдельные четверти каждого тела развесили на кольях...

— Интересуетесь, когда все это было, господа? — окончив переводить подробности, вкрадчивым голосом спросил Петрища. — Житомирское дело — 1753 год, Заславское — 1747-й, Ступицкое и Красноставское — 1759-й и 1760-й. А сейчас у нас, стало быть, 1829-й. Я же говорю — на памяти отцов-дедов наших. Да-да, господин Шкурин, в эпоху Вольтера, Дидро, Руссо, коих, как вам известно, государыня Екатерина высоко чтит.

— И все же это варварство, господин учитель, — попытался возразить Шкурин. — Эти ужасные казни... И пытки! Разве пыткой можно доказать истину?

— До-ка-зать?! — Петрища не повышает голоса, но весь напряживается, и взгляд его цепко впивается во флигель-адъютанта. — А вера, господин подполковник, на что? Вера народная? Этак вы еще доказать потребуете, что Иисус был непорочно зачат от Духа Свято-

го и что он воскрес во плоти из мертвых!.. Вот это ваше «до-казать» и подрывает веру христианскую, а с верой — и нравственность народную!

— Но позвольте! Причем здесь непорочное зачатие и прочие догматы веры! Мы же с вами про судебные дела говорим. Суд ищет виновных, ему доказательства нужны: кто, когда, зачем, при каких обстоятельствах?

— Вот про это я и говорю. Народ! — Петрища поднял вверх указательный палец с маленьким полудетским ноготком. — Народ — он, знаете ли, не доказательствами живет, а верой! Верит народ, что евреи младенцев губят! Ежели не с кровью, то с молоком материнским вера сия из поколения в поколение переходит, и никакие доказательства тут не надобны. А ежели всякий раз разъедающий народную душу скептицизм разводить да судебных улик требовать, значит — против народа идти. А я, господин подполковник, — при этих словах Петрища встал и, не повышая голоса, твердо закончил. — Против народа, господин подполковник, я никогда не пойду и никому того не позволю, даже, к примеру, и вам.

— Вы забываетесь, господин учитель! — подскочил к Петрище Шкурин и высоко задрал голову.

— Господа, господа! — бросился между ними Страхов.

Он уже привык к подобным стычкам, которые, однако, всегда кончались мировою. Они были чем-то вроде щепотки перца в их пресной провинциальной жизни.

— Ежели рассуждать в *принсiпе*, — заговорил Страхов, когда спорщики пожали друг другу руки, и инцидент был улажен, — то я, конечно, целиком на вашей стороне, господин подполковник. Попытки ушли в прошлое, и спасибо за то Господу. Однако я не отказался бы пожарить свечкой или хоть на дыбе растянуть кое-кого из наших подопечных. Славку Берлин, к примеру. А особенно — Хаима Хрипуна. А то неловко даже. Посечешь их плеточкой в сердцах, и спишь потом беспокойно: вдруг опять с жидовскими своими предприимчивостями до государя сумеют достигнуть и жалобой своей, будто ведем мы допросы с пристрастием, огорчат. И объясняйся потом, что все это одни только жидовские предприимчивости. При таких-то условиях — разве добьешься от них правды?

— Да, — задумался Шкурин. — Наши споры спорами, а вот хоть часть исследованных нами материалов о прошлых процессах в наш следственный отчет мы, разумеется, включим. В нашем деле главное — широта и охват! — он энергично сдвинул

разведенные руки. — Пусть под пытками, а все ж сознавались евреи. Не всякий же раз оговаривали себя, иногда, может, и правду говорили.

— Такие речи ваши рад слышать, господин подполковник, — оглаживая бороду нежной, почти женской рукой, сказал Петрища. — Кстати, о младенце Гаврииле вы знаете?

— О каком Гаврииле?

— Дело, правда, очень уж давнее, полтора ста лет ему, да зато мощи младенца до сих пор нетленные в Свято-Троицком монастыре близ Слуцка лежат, огромное число богомольцев ежегодно притягивают.

«Комиссия» о новости этой князю Хованскому сообщить поспешила, а князь незамедлительно с митрополитом снесся: так, мол, и так.

«И по обязанности звания, мною носимого, и по долгу христианина я озабочиваюсь представить Велижское дело сколь возможно полнейшим и яснейшим, а потому стараюсь подкрепить оное несколькими примерами подобных мучительств христиан в разных странах и веках, от евреев учиненных. Засвидетельствование о мучении младенца Гавриила, ознаменованного властью Всемогущего нетлением, было бы новым самым сильнейшим подтверждением и подобного бесчеловечья, совершенного евреями в Велиже над младенцем Федором».

Так черным по белому написал митрополиту князь Хованский!

Не долго заставил ждать митрополит. А князь Хованский, сам собой, в Велижград ответ его переслал. И узнала «Комиссия», что мощи святого мученика Гавриила доподлинно имеются и составляют главную святыню Свято-Троицкого монастыря.

Лежит младенец в деревянном гробике, обе ручки обхватывают маленький металлический крест. Пальцы младенца исколоты, на них имеются рваные раны, а головка его отделена от туловища. Память его празднуется православной церковью ежегодно 20 апреля, но торжественное богослужение обычно приурочивают ко дню сошествия Святого Духа. Мощи в этот день обносят вокруг храма и ставят в середине церкви для поклонения, на которое стекаются массы крестьян — не только православных, но и католиков — из всех окрестных уездов. Поток богомольцев не иссякает до глубокой осени: только 22 октября мощи переносят в теплую домовую церковь монастыря — до следующей весны.

И каждый богомolec либо сам читает, либо, если неграмотен, просит, чтобы ему вслух прочли «Надгробок», что тут же над трупиком нетленным выставлен.

И узнают богомольцы из длинной стихотворной эпитафии, от имени самого убиенного Гавриила составленной, душераздирающие подробности о его тяжелых страданиях через евреев:

— о том, как отец его, крестьянин простой, пошел в поле «орати»;

— как мать понесла ему в поле «бедны обед»;

— как в этот самый момент коварный «арендар — жид из Звенков» «схватил мя детину на свой воз»;

— как завез он младенца «до Белого Стоку», где «кровь много пущали из боку»;

— как мучить его «весь кагал собрался» и

— как бросили труп его потом в «жито»...

Откуда жито появилось в апреле, в эпитафии не говорится, зато подробно повествуется в ней про то, как «птицы плотоядны» слетелись клевать мертвое тело, да «псы зело гладны» «натуру свою песью переменили, от птичьего терзания мне стражею были»;

— про то, как схоронили младенца на православном кладбище, как через тридцать лет зачем-то откопали труп и увидели с изумлением, что он не истлел, почему и препроводили мощи в монастырь.

Вот какими важными сведениями обогатилось следствие благодаря митрополиту!

Ну, трепещите, евреи!

Трепещи, Славка Берлин!

Трепещи, Ханна Цетлин, и муж твой Евзик, и дочь твоя Итка!

Трепещи, Рувим Нухимовский, и Орлик Дениц, и Нота Прудков!

Трепещи, Хаим Хрипун!

Дело-то вон как оборачивается. «Самым сильнейшим подверждением» вины вашей выставляется теперь неведомый вам младенец Гавриил, полтора года назад неизвестно кем убиенный, да зато самим Господом отмеченный!

Глава 22

Трепещите, евреи велижские. Но и — надейтесь!

Вся надежда ваша — на государя императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая. Снова пробилась братья ваши к умнику-адмиралу, что о законах печется да на английский лад благословенное отечество переделать мечтает. В ноги упали умнику братья ваши.

— Вот, — говорят, — Николай Семенович, какая история с рекрутчиной-то приключилась! Знаем, что вы не за то ратовали. Вы на английский лад хотели, чтобы закон один был для всех и чтобы равная на всех повинность легла. А у нас от того вашего хотения малых деток, что зверей лесных, отлавливают, на чужбину далекую гонят и до смерти замучивают. И нас же в убийстве детей, будто бы для надобностей религии нашей, хотят обвинить, что равносильно гибели всему народу.

Ну, умник пообещал помочь. Да и сдержал обещание: словечко перед государем замолвил, удобную выбрав минуту. И вот уж в другую сторону весы потянуло.

Недоволен следствием государь: долго уж больно длится, да к концу не близится. Указать государь изволит, что «Комиссия» наиболее основывает свои заключения на догадках, на толковании припадков и телодвижений, да на показаниях все тех же трех обвинительниц. Ни одного признания ни от одного из евреев за много лет не получено, никаких вещественных доказательств или иных судебных улик все еще не найдено. Теперь же, дошло уж до государя, «Комиссия» в старых книгах да архивах копается, прецеденты выискивает, забыв, вероятно, о том, что повеление в Бозе почившего брата государева, чтобы обвинять не на основании предрассудков и предубеждений, а только на основе судебных улик, никогда отменено не было. Государь опасаться изволит, что «Комиссия» излишне увлечена своим усердием и некоторым предубеждением против евреев, а потому действует пристрастно. О чем начальник штаба его императорского величества барон Дибич и поспешил сообщить князю Хованскому, а князь Хованский — «Комиссии».

Узнали про ту высочайшую волю Страхов и Шкурин и за-скребли в затылках. Никак в толк не могут взять, как же все это с прежними изъявлениями высочайшей воли согласовать? Вот тебе и младенец Гавриил! Год усердной работы кошке под хвост, выходит, отправить надобно. А главное — скорейшего завершения дела государь требует. Заключения по нему да направления оногo в Правительствующий Сенат для решения участи обвиняемых. А как заключение-то прикажете составлять, ежели на сорок обвиняемых три свидетеля, да им сам государь не больше верит!

Тут поневоле ухватишься за ангела небесного Антона Грудинского, благо он сызнава в Велиже объявился да прямо перед «Комиссией» и предстал.

...Конечно, опять ободран, согнут, жалок Антон; голодный блеск в воспаленных его глазах; длинные грязные пальцы торчат из сгнивших лаптей.

— Имею, — говорит, — сделать новое заявление!

И сызнава Антон одет и обут, накормлен и в бане выпарен. Сызнава распрямились плечи его, спокойствие и солидность в Антоновой осанке.

«Что скажешь, Хася красномордая? Антон Грудинский — персона!»

Скрипит пером писарь, прикусывая язык от усердия; переглядываются Страхов со Шкуриным, ухмылка лица их бороздит.

Антон-то Грудинский, в бытность свою Ароном, вона, оказывается, скольких христианских младенцев собственными руками порешил! Раскаивается теперь в злодеяниях и с полной христианской чистосердечностью признается. Вот оно, собственное признание еврея — с неба, можно сказать, в самый нужный момент подоспело. Давай, писарь, скорее новое перо очиняй, да продолжай, записывай.

Ну? Чья взяла, евреи? Чья взяла, Хаим Хрипун?

Перед каждой христианской пасхой Антон Грудинский, то есть тогда еще Арон, убивал по младенчику!

Строго по еврейскому календарю!

В местечке Бобовне то было, в Минской губернии. Он, Грудинский, с детства раннего там воспитывался — у родственника своего Шапая Турбовича. Шапай по торговым делам в Москву навдывался частенько, и вот перед пасхой всегда мальчонку из Москвы привозил. Что ни год, то мальчонок! Кровь употреблялась на месте, а остатки развозились по окрестным еврейским селениям. Ну, а трупки детские зарывали прямо во дворе у Турбовича.

— Как это — зарывали? — встрепенулся Страхов. — Закон еврейский ведь запрещает трупы убиенных младенцев зарывать. Они же считаются падалью, и предавать их земле нельзя.

Обернулся к Страхову на эти слова Грудинский, долго презрительным взглядом его измерял:

— Насчет закона мне неизвестно, господин следователь, — произнес Антон с достоинством, — как это называется, я тоже не знаю. На этот счет вы у ксендза Подзерского справьтесь — он у вас по еврейским законам и книгам главный советчик. А я говорю про то, что сам видел и принимал в чем участие. Там, почитай, весь двор костями тех младенцев вымощен.

— Ладно вам к мелочам придирайтесь! — напустился Шкурин на Страхова, как только вывели Антона Грудинского. — Вы подумайте, какая удача нам привалила. Что ни говорите, а усматриваю здесь высший промысел!

— Сюрприз, конечно, приятный, однако я вас не совсем понимаю. К нашему-то делу как все это прикажете привязать?..

Шкурин минуту молчал, в изумлении глядя на Страхова, потом громко расхохотался. Уняв смех, сказал:

— Извините меня, господин Страхов, но я старше вас годами и званием, так что не обижайтесь. Вы, стало быть, находите, что к Хаиму Хрипуну и прочим нашим подследственным признания Грудинского никакого касательства иметь не могут. Ибо в местечке Бобовне то происходило, а это в Велиже. Туда младенцев из Москвы доставляли, а здесь местными обходились. Там злодеи — какой-то Шапсай Турбович с родственниками своими, а здесь — Ханна Цетлин, да Славка Берлин, да Орлик Дениц, да Нота Прудков, да Хаим Хрипун, да три десятка других евреев, и никто из них к Турбовичу никакого касательства не имеет. Так, что ли?

— Именно это я и хотел сказать, — подтвердил Страхов и несмело добавил. — По закону ежели...

— Ах, господин Страхов, — укоризненно возразил Шкурин, — сколько лет уже вместе работаем, а никак не приучу я вас к широкому взгляду. Охват в нашем деле — это первое. Нужен, — при этом слове Шкурин широко развел руки, — охват! — и он резко их сдвинул. — Еврей-то всюду еврей! Хоть в Бобовне, хоть в Велиже, хоть где. И сами они это лучше нас понимают! Помните, что заявил нам Нота Прудков, да еще нагло требовал в протокол записать? — Шкурин встал, снял с полки один из пухлых томов, быстро перелистал. — Вот! «Если докажут, что мы виноваты, то все евреи будут виноваты». И Хаим Хрипун, этот предусмотрительный Хаим, тоже был прав, когда кричал в своих записочках. Вот! «Пусть не думает кто из вас, братья, что если его самого не трогают, так не о чем ему стараться. Бегите по всем местам, где только народ Израилев рассеян, и громко вопите: «Горе, горе народу Израилеву!»

Шкурин захлопнул и поставил на место том.

— Такое уж наше дело особое, господин Страхов, — продолжал Шкурин наставительным тоном. — Ежели в Велиже евреи младенцев режут, потому что жить им невозможно без кровушки христианской, то отчего бы им и в Бобовне не резать? Ну, а ежели в Бобовне, то само собой, и в Велиже! Тут только бы одно звено ухватить, вся цепь и вытащится. Это ежели узко смотреть, то показания Антона Грудинского не имеют касательства к Велижскому делу. А ежели шире взять, то очень даже имеют!

Срочно «Комиссия» новое донесение шлет князю Хованскому, а князь Хованский спешит оное к стопам государя повергнуть.

Государь брови суровит, сердце его благородным гневом полнится на изуверства еврейские, однако — нет больше веры в сердце государевом к велижской «Комиссии». Даже к генерал-губернатору трех губерний князю Хованскому нет прежней веры у государя. Даже на начальника штаба своего барона Дибича не хочет больше полагаться государь.

Генерал-адъютанта графа Бенкендорфа он к себе призывает, верного человека велит в Велиж отправить, чтобы выкреста Антона Грудинского взял, в местечко Бобовню отвез да на месте всю правду и выяснил.

— Только верного человека пошли, Александр Христофорович: чтобы без всяких предубеждений.

И вот, как снег на голову, свалился на велижскую «Комиссию» жандармский полковник Рутковский. Строен, подтянут, сух, никакой фамильярности в обращении.

— Имеющимся у меня предписанием, господа, вам надлежит выдать мне содержащегося под арестом Антона Грудинского для следования его со мною в местечко Бобовню.

— То есть, как это — выдать? А мы как же? — спросил растеряно Шкурин. — Для расследования полагаю полезным, чтобы один из нас сопровождал вас, полковник.

— На этот счет предписаний не имею, — возразил Рутковский.

— Но, господин полковник! — вспыхнул вдруг Страхов. — Это же мы Грудинского разоблачили, мы о показаниях его донесли! И нас отстранить!.. Это похоже на оскорбление!

— Предписаний не имею, — холодно повторил Рутковский.

— Но вы, по крайней мере, уведомите нас о результатах вашего расследования? — спросил, нервно перебирая бумаги, Шкурин.

— Я таких предписаний не имею, господа, — опять с подчеркнутой сухостью возразил Рутковский. — Начальство же, ежели сочтет нужным, вас уведомит.

И в тот же день отбыл с Антоном Грудинским, отклонив приглашение вместе отобедать и даже едва раскланявшись.

— Это оскорбление, оскорбление, нам не доверяют! — метался по кабинету Страхов. — Все ваш широкий взгляд, ваш охват! — напустился он на Шкурина, да осекся, наткнувшись на жесткие глаза подполковника, на его окаменевший, опять ставший квадратным и без ямочки, выдающей мягкость характера, подбородок.

А в местечке Бобовне, куда жандармский полковник Рутковский явился с Антоном Грудинским, выяснилось, что Шапсай Турбович, купец, взаправду там проживает, но Антону Грудинскому он вовсе не родственник, и никогда Антон, то есть Арон, у него не жил и не воспитывался, и сын он, Антон, вовсе не тех родителей, чьим сыном назвался, и бродяга он беспаспортный, и двоеженец, и даже вообще его, Антона Грудинского, на свете белом как бы не существует, ибо ни в какой ревизской сказке он не записан, и никаких христианских детей он никогда не умерщвлял, и ничего про такие умерщвления ему неизвестно, а показания, данные им велижской «Комиссии», и изветы, им сделанные, от начала и до конца ложны и несправедливы, побужден же он был к такому поступку одной только несчастною жизнью своей, ибо не имел, чем существовать и кормиться, а в каторге ему прозябать все лучше, нежели замерзнуть под забором...

Выяснив все сие, жандармский полковник Рутковский в Петербург воротился, обстоятельный, по положенной форме, доклад составил, и на усмотрение Правительствующаго Сената государь доклад сей поверг.

Наилучшим образом для Антона Грудинского все обернулось! Ибо определил Сенат, что за изветы да бродячую и распутную жизнь его следовало бы плетью наказать да в Сибирь морозную навечно сослать, однако же, во исполнение высочайших повелений, предписывающих снисхождение и милость к подданным проявлять, Сенат постановил от плетей Антона Грудинского освободить, Сибирь заменить солдатчиной, а за женитьбу на двух женах местному духовному начальству надлежит поступить с ним по правилам духовным.

Ну, что ж! В солдатах не сладко служить, да все ж лучше, чем околевать от голода и холода!

А в Велиже, между тем, холера объявилась, не иначе, как евреями насланная в отместку за изобличение братьев их. Да вдобавок к холере — смута великая вспыхнула по соседству, в царстве Польском то есть. Из-за евреев, конечно! Потому как за ними глаз да глаз нужен; местная власть расследованием всяких злодейств

еврейских так сильно поглощена была, что проглядела, как ляхи-паписты заговор устроили. Да и ударили вдруг!

Наместник и старший брат государев, что пятью годами раньше великодушно трон всероссийский братцу своему уступил, — так он посреди ночи чуть не в подштанниках одних из дворца своего улепетывал.

И в это тяжкое время письмо от невесты, дочери губернаторской, Страхов получил: «так и так, милый дружок, ждала я тебя долго, да увяз ты совсем со своими евреями, а у меня молодость зря проходит, мочи нет больше ждать, и выхожу я за другого, а по тебе слезы лью, век помнить буду».

Что это? Еврейский удар в спину. Не иначе ведь, за масона идет княжна, а масоны все евреями куплены и все для них сделать готовы.

Ну, а когда до Велижа известие докатилось о том, что полковник Рутковский в местечке Бобовне выяснил, тут такая тоска навалилась на Страхова и такие ужасные сны по ночам стали сниться, что не вынесло его разбитое сердце. Не добудился его в утро одно морозное человек его Степан...

Возликовали евреи велижские.

Упорный слух среди них пошел, что не своей смертью помер следователь Страхов, а что принял он яду, ибо дело, которое он с таким упорством вел много лет, полностью провалилось.

Возликовали евреи, ну, а больше всех — Хаим Хрипун.

— Я, — говорит, — смерти никому не желаю, но тут случай особый, тут знак Божий и возмездие за лютую гзейру, через которую хотели погубить Господу принадлежащий народ. Я, — говорит Хаим, — предсказывал ему, что придет возмездие, так, — говорит, — по слову моему и получилось.

Однако же рановато обрадовались евреи: ведь подполковник Шкурин еще на своем посту оставался.

Не сладко, конечно, одному кашу расхлебывать. Да он, Шкурин, столичная птица, тертый калач. Нервы-то у него из проволоки сплетены. Он не этот молокосос Страхов, который чуть что — в истерику кидается или, пуще того, яд заглатывает. Заключение обвинительное Шкурин быстренько накатал да князю Хованскому и отправил.

А князю тоже медлить никак уж невозможно, потому что настойчив стал государь: какого-никакого, а окончания делу тому требует.

Листает пухлые тома князь да сокрушается.

Все улики, в деле изложенные, — от четырех темных баб.

Это — ежели повесившуюся Марью Ковалеву считать.

А по правде-то говоря, — только от трех.

Да и из трех шляхетка Прасковья Козловская очень мало чего показала.

Основных доказиц всего две выходит.

Да и эти две столько раз показания свои меняли и путали, друг дружке и самим себе противоречили, что семь лет усердной работы потребовалось, чтобы кое-как их к согласию привести. И вот на таком основании надобно князю Хованскому сорока четырьмя человекам обвинение во многих смертоубийствах вынести!

Оно по закону ежели, то распустить бы обвиняемых по домам и концы в воду. Ан, разве можно с евреями по одному лишь закону? Скользкие они, как лягушки, из-под любого закона выскальзывают. Опять же сильно замешан в деле сем князь Хованский, генерал-губернатором над тремя губерниями поставленный. Неосмотрительно было с его стороны так громко уверенность свою в виновности евреев заявлять, да что теперь сделаешь! Скверно от всего этого внутри у генерал-губернатора, точно живую лягушку невзначай проглотил, и она нахально прыгает в губернаторской отрубе. Однако отступать князю Хованскому все одно некуда.

Но — справедлив Господь! Господь правду видит и тем, кто за правду стоит, непременно снисхождение делает. В тот самый день, когда отправил князь последнее (как думал) донесение государю о Велижском деле — в этот самый день разверзлись небеса, и великое чудо Господне снизошло на грешную землю.

Нет, не в образе Антона Грудинского, что тянул уже два года солдатскую лямку, а в образе Александра Федорова, что три года солдатскую лямку тянул. В тот самый день, когда князь Хованский из Витебска курьера с обвинительным заключением своим в Петербург отправил, ничего не знавший о том рядовой лейб-гвардии Финляндского полка Александр Федоров явился в Петербургский ордонандгауз и заявил, что ему ведомо, как в 1824 году велижский раввин Смерка Берлин велел своему прислужнику Иосифу Мирласу привести христианского мальчика, как по приходе прочих еврейских старшин мальчика посадили в погреб, а на другой день нашли мертвым за городом. И так как мальчик был изранен, и у него была перевязана каждая жилка, то рядовой Федоров и полагает, что евреи убили его. И поскольку ему известно, что они в преступлении не сознаются, то он, упрекаясь совестью, и пришел рассказать обо всем.

Необыкновенное показание записали да тотчас донесли государю, а государь распорядился направить оное князю Хованскому.

Как получил князь срочный пакет, так на колени перед иконой Божьей матери плюхнулся. Чудо! Чудо свершилось Господне!

Нет нужды, что неведомый рядовой Федоров к 24-му году убийство отнес, хотя оное произошло в 23-м. Нет нужды, что Шмерка Берлин никогда не был раввином и что не Иосель Мирлас мальчика изловил, а Марья Терентьева, что не к Берлиным она его привела, а к Цетлиным. Нет нужды и в том, что мальчик был исколот, а не изрезан и что вовсе не была у него «перетянута каждая жилка». Нет нужды и в том, что «Комиссия» уже дважды обожглась на другом выкресте Антоне Грудинском из-за излишнего доверия к его изветам. Что все это в сравнении с чудеснейшим знамением!

Чудо, чудо Господне! Так и написал князь Хованский о том государю:

«Тогда как злодеи-евреи, источившие кровь христианскую, обличенные всеми обстоятельствами и четырьмя христианками, упорствуют сознаться в своем злодеянии, является вдруг, вдалеке, прежний единоверец их, видевший страдальца-мальчика заключенным в погреб, и доказывает добровольно, по действию совести, что такое злодейство есть дело евреев! Самый случай сей есть чудесное даже событие, ибо только у Всемогущего нет ни времени, ни пространства. Много пролито евреями христианской крови в разных странах и веках и много было судейских определений о придании таковых суду и воле Божией; ныне воля Божия открывается явственно, и суд его будет праведен».

Ну, князь! Ай да князь Хованский! Поседел весь, погрузнел от долгих лет жизни да от нелегкой службы государевой! Дедом уж сделался князь, внуку «козу» строит. А сколько молодого задора, сколько искреннего негодования и петушиного торжества в уличении евреев!

Но до суда Божия предстоял еще суд Правительствующего Сената, и прежде чем показания рядового Федорова к делу приобщить, личность его выяснить и передопрос учинить закон требовал. А при повторном дознании Александр Федоров убийство младенца уже к 25-му году отнес, а на вопрос о том, каким же образом Иосель Мирлас мальчика изловил, ответил, что хитроумный Иосель рассыпал по двору чернослив, и когда восемь христианских детишек сбежалось его подбирать, евреи одного схватили и унесли в дом, а других разогнали.

О самом же рядовом Федорове удалось выяснить, что сдан он в солдаты был Велижским еврейским обществом по первому рекрутскому набору за воровство и буйство. В солдатах принял крещение, но когда перевели его в другой полк, объявил себя снова евреем и потом еще раз крестился. А показание явился давать уже трижды крещеным...

Почесали в затылках чины питерские и за благо сочли сомнительные показания рядового Федорова к делу вовсе не приобщать, как путанные и продиктованные мотивами личной мести.

Тем и завершилось следствие. Чудом, в облике Архангела Михаила, оно началось, чудом и кончилось.

Глава 23

Началось судебное разбирательство в Правительствующем Сенате. С серьезностью великой подошел к решению многосложного дела Сенат. Без бюрократизма и формалистики. В книги, изобличающие евреев, вникали седоголовые сенаторы, да не как-нибудь, а с тщательной проверкой всех обвинений. Выяснили сенаторы, что тех мест в еврейских книгах, на кои указывают изобличители, либо вовсе не оказывается, либо они совсем иной смысл имеют.

Из этого одни мудрые седые головы тот вывод делали, что изобличители просто клеветают на евреев. На что другие, не менее мудрые седые головы возражали, что, может быть, места те в еврейских книгах нарочно пропущены и в каких-то особо секретных старинных изданиях все же имеются... Третьи мудрые седые головы полагали, что все вообще евреи в постоянных убийствах христианских детей все же, по-видимому, неповинны, но что, вероятно, есть среди них изуверская секта, которая кровью христианской и упивается. А четвертые мудрые головы к той мысли пришли, что прежде чем выносить приговор Славке Берлин, да Ханне Цетлин, да Хаиму Хрипуну, да прочим велижским евреям, надобно непременно общий вопрос о ритуальных убийствах разрешить. Пятые же вовсе особые мнения высказывать изволили.

И путешествовало дело из одного департамента Сената в другой департамент, на общие собрания выносилось и вновь в департаменты заворачивалось.

А пока тянулась обычная канитель, в Велиже своим чередом жизнь текла. Арестованные евреи в казематах решения участи своей дожидались, не арестованные — того же ожидали на воле. Христианский люд лютовал на евреев, подстрекаемый сапожником Азадкевичем да учителем Петрищей. Подполковник Шкурин ожидал отзыва из проклятого Велижа в столицу, но то ли сердился на него государь, то ли вовсе про него все забыли, только приказа не поступало, и он все больше верхом скакал по окрестностям, чтобы не размышлять о том, как тает, как растворяется в воздухе из-за евреев блестящая его карьера.

А блаженная девка Нюрка Еремеева вдруг ни с того ни с сего богатые, золотом расшитые ризы принесла в дар Николаевской православной церкви.

Нищенка, побирушка, с паперти на паперть в рублище перекочевывающая, да вдруг — такие дорогие подарки дарить!

Заинтересовалась местная власть странным сим поступком, призвала больную девку к ответу. Как и почему, и откуда у тебя такие капиталы, чтоб дорогие ризы дарить?

— Сама сшила, — отвечает Нюрка, — из великой любви к Господу нашему Иисусу Христу и Святой его православной церкви.

— А материал где добыла, серебро-золото для роскошного шитья? — спрашивает чин.

Нахально глядит на чина Нюрка, не знает, что сказать, да вдруг как зальется слезами! И призналась, что не ее это ризы, что крестьянин Козлов из сельца Сентюры, через нее, Нюрку, то роскошное приношение сделал.

— Почему же, — спрашивает чин, — крестьянин Козлов от себя их не подарил?

— А потому, — объяснила Нюрка, — что много я ему ворожила и мои предсказания помогли ему разбогатеть, и он хотел мне подарок дорогой сделать да все спрашивал: «Какой тебе, Нюрка, подарок сделать?» А я говорю: «Не надобно мне ничего, а как моя ворожба от Господа, то сделай ты приношение в церковь». Он и ответил: «Будь по-твоему, Нюрка, только приношение мое через тебя пусть идет».

Вызвали крестьянина Козлова из сельца Сентюры, и он нюркины слова до последнего подтвердил. Обнаружилось тут, что давние и прочные узы связывают разбогатевшего пожилого крестьянина с юной нищенкой. Он и в остроге ее посещал, угощения носил, а как дочь у него в те дни родилась, так никого другого не захотел — Нюрку, несмотря на заточение ее, заочно приемницей сделал. Оказалось, что знал он Нюрку еще ребенком, и, бывая в Сентюрах, всегда она у него, Козлова то есть, жила!

К еврейскому делу все это касательства не имело, однако закопошилось что-то в памяти подполковника Шкурина. Вроде бы, когда он в Велиж прибыл да с делом стал знакомиться, мелькнуло где-то в самом начале первого тома имя девки блаженной Нюрки, какие-то сны ее и предсказания...

Не обратил тогда особого внимания на чертовщину эту подполковник Шкурин, как-никак столичный человек, образованный,

чтобы всякие суеверия всерьез принимать. Но теперь не утерпел Шкурин, вызвал к себе Нюрку Еремееву. А ну как что важное обнаружится и появится повод о себе Петербургу напомнить.

Ну, Нюрка опять ему про сны да припадки давнишние, про архангела Михаила да младенца, на которого шипела змея.

Шкурин сказкам тем не поверил, ласково, спокойно, улыбочиво, простыми вопросами Нюрку в угол стал загонять. И, наконец, сообразила она, что про архистратига все выдумала, а про убийство потому заранее знала, что однажды невзначай в дом Ханны Цетлин вошла да и услышала из передней разговор: Марья Терентьева обещала что-то евреям принести. Потом дверь открылась, все вышли в переднюю и увидели ее, Нюрку, отроковицу двенадцати лет. Нюрка испугалась шибко: знала сызмальства про еврейский обычай христианскую кровь употреблять, и подумала — не о ней ли только что речь шла за дверью. Когда спросили ее, кто такая, она назвалась крестьянкой одной помещицы и едва ноги унесла из еврейского дома. Однако же шибко взяло любопытство Нюрку: захотелось узнать, о чем это говорили евреи с Марьей Терентьевой. И вечером, превозмогая страх, от коего дрожали коленки, она опять пробралась в Ханнин дом, притаилась в углу и слышала разговор Авдотьи Максимовой и Марьи Терентьевой.

Авдотья говорила, что евреи очень хотели захватить девку, приходившую днем, то есть Нюрку, но она им отсоветовала, сказав, что помещица станет искать свою крепостную и быстро все обнаружится. Марья ответила, что видела, какие жадные взгляды бросали евреи на девку, Нюрку то есть, да им не о чем беспокоиться, потому как она, Марья, приведет к ним мальчика, как обещала, и он будет умерщвлен в доме старухи Мирки.

Долго Нюрка ни слова не говорила никому о том, что слышала, ибо шибко боялась евреев, но как ей жаль было будущую жертву, то стала она разглашать про замышляемое злодеяние иносказательно, будто бы через сны и видения.

Такие вот показания блаженной девки Нюрки Еремеевой занесены были в протокол по указанию подполковника Шкурина.

А вечером, в возбуждении великом, пересказал Шкурин показания блаженной девки учителю Петрище, с коим смерть Страхова его еще больше сблизила.

— Ну, и что же из показаний сих следует? — спросил вкрадчивым своим голосом Петрища, цепко вглядываясь в взволнованное лицо Шкурина и оглаживая бороду белой почти девичьей рукой.

— Как — что следует! — воскликнул Шкурин, удивляясь непонятливости друга, чей ум привык оценивать высоко. — Ведь ей то-

гда было двенадцать годков. Слыханное ли дело, чтобы ребенок, насмерть перепуганный, ночью, по собственной воле явился в дом, где, по его понятиям, его могут зарезать! Да и Марья с Авдотьей ни слова о девке, что к Цетлиным приходила, ни о разговоре, ею подслушанном, никогда не показывали. Так что брешет бесстыжая каналья. Завтра же устрою ей очную ставку с бабами и в брехне уличу!

— И чего вы этим добьетесь? — настороженно спросил Петрища, выслушав возбужденного флигель-адъютанта.

— Многого добьюсь! — воскликнул подполковник, еще более удивляясь петрищиной непонятливости. — Ведь ежели она брешет, значит, имеет что скрывать! А Нюрка сия первая слух распустила об убийстве младенца евреями — еще за месяц до самого убийства. Ежели предсказание о преступлении сбывается с такой поразительной точностью, то где же преступников искать, как не рядом с предсказателем? Пророчествовала-то она в доме крестьянина Козлова, и с ним ее какие-то странные узы соединяют. Не Козлов ли есть тот архистратиг Михаил? Вот тропка, ведущая к истине! В нашем деле, знаете ли, широкий подход нужен. Охват! Этого наш молодой друг господин Страхов, царство ему небесное, никак не мог понять. Я теперь абсолютно уверен, что ежели мы связи крестьянина Козлова выявим, то дело оное до конца раскопаем — новых преступников к находящимся под арестом присовокупим, а главное, непроверяемые улики добудем, так что никто уж в преступности евреев усомниться не сможет!

— А не опасаетесь ли вы, господин подполковник, — как-то по-особому ухмыляясь, спросил Петрища, — что тропка сия совсем в другую сторону завести может?

— В какую это другую? — не понял Шкурин.

— Мало ли в какую! — с необычными для него дерзкими нотами в голосе ответил Петрища.

Он огладил бороду и продолжил:

— Выяснится, что означенный крестьянин Козлов в большой дружбе, к примеру, — тут Петрища запнулся, как бы подыскивая пример, — к примеру, с сапожником Азадкевичем, который и научил его девку подговорить!..

Сказав это, Петрища внезапно замолк, ожидая, пока услышанное уляжется в голове Шкурина, и неотрывно вглядываясь в его лицо потемневшими глазами. Увидев, что сказанное дошло до сознания подполковника, Петрища заговорил с еще большей дерзостью в голосе:

— А мальчонку, опять же к примеру, Азадкевич самолично пообещал изловить... А потом выяснится, к примеру, что Азадкевич точно изловил мальчонку, но при истязаниях только держал его, — медленно, словно гвозди вколачивая, выкладывал слово за словом Петрища. — А колот гвоздем и душил его другой человек, и этим другим человеком окажется вовсе и не еврей, а, опять же к примеру, — тут Петрища понизил голос до свистящего шепота, — учитель Петрища! — и он многозначительно прищурил один глаз.

— Представляете сцену, господин подполковник, — в голосе Петрищи слышалось торжествующее злорадство. — Азадкевич держит его, а я, к примеру, колю! Малец как уж извивается, мычит, потому как рот у него шарфом завязан, а я колю да приговариваю: «Терпи, казак, атаманом будешь, прямой дорогой в рай попадешь, потому как назначен ты Господом пострадать заради уличения врагов Христовых». Так в руках Азадкевича он и затих, и холодеть стал...

Петрища помолчал, но недолго; что-то заставляло его говорить.

— Вы, конечно, понимаете, господин подполковник, что все это я говорю только к примеру... Между прочим, о наших с вами сношениях и о том, что вы попали под полное мое влияние, евреи множество раз высочайшему начальству доносили, — Петрища откинулся на спинку стула и побарабанил белыми пальцами по столу. — И получится, что я вот этой самой рукой, — Петрища вытянул руку, и Шкурин увидел, как мелко подрагивают простертые над столом его нежные девичьи пальцы, — вот этой самой рукой ребеночка укокошил, и ею же — следствие восемь лет направлял, и не только этим глупым мальчишкой Страховым, царствие ему небесное, но и вами, господин флигель-адъютант его императорского величества, как куклой деревянной вертел.

И он громко захохотал, чего раньше никогда за ним не замечалось.

Пораженный странной речью Петрищи, подполковник Шкурин сидел минуты две молча, глубоко озадаченный, с низко отвисшей челюстью, а потом ударил себя по коленкам и тоже принялся хохотать.

— Ну и шутник вы, господин Петрища, ну и шутник!.. Столько лет уж вас знаю, а не думал, что вы такой шутник.

Шкурин всегда спал глубоко, без сновидений. Но в ту ночь он сильно метался, и все виделась ему нежная белая почти девичья рука учителя Петрищи с тонкими, словно длинные гвозди, подрагивающими пальцами.

Встал Шкурин вялый, с головной болью и тяжестью во всем теле. И не то чтобы какое-то значение придал вчерашнему разговору с Петрищей, а просто решил, что миссия его давно окончена и нечего ему все заново затевать. Ну, а чтобы напомнить о себе, достаточно и вчерашних показаний Нюрки Еремеевой: их тоже можно и князю Хованскому в Витебск препроводить, и в Петербург Правительствующему Сенату.

И как бы последний итог подводя следствию, вспыхнул в Велиже огромный пожар. Полгорода выгорело, и вместе с другими вся Тюремная улица.

Подполковник Шкурин отменную распорядительность проявил на пожаре. Казематы вовремя были отперты и перепуганные заключенные выведены из огня. Неожиданным благом пожар обернулся для несчастных узников. Пришлось всех перевести на окраину города в острог. Небольшой острог переполнился, и уж об одиночках речи не могло быть. Да и нужда в них отпала ввиду окончания дознания.

Могли теперь узники в тревожном ожидании участи своей словом друг с дружкой перемолвиться, шутки невеселые шутить, долю свою горькую оплакивать, надеждами делиться. Маленький Лейзер Рудняков, коего мать младенцем принуждена была с собою взять в заточение, стал бойким озорным мальчишкой и общим любимцем. Даже надзиратели любили Лейзера, позволяли ему подолгу играть на тюремном дворе. А Хаим Хрипун грамоте его обучал и не спеша, глава за главой, проходил с ним священную Талмуд-Тору. Торопиться-то им все одно было некуда.

Долгих три года разбиралось дело в Сенате, однако как ни лениво раскручивается веревочка, а концу все же быть. Собрались сенаторы и постановили: признать велижских евреев виновными в убийстве солдатского сына Федора Иванова и других шестерых христианских детей, включая дворянку Дворжецкую, а также в надругательствах над Святыми тайнами.

Но дело и тем не кончилось.

Виноватых-то надобно наказать по их вине, однако в мнениях о мерах наказания решительно разошлись высоколобые сенаторы.

Некоторые стояли за бичевание кнутом и ссылку в каторжные работы.

Другие, напротив, стояли за милосердие, то есть за сечение плетью и ссылку на вечное поселение.

А один сенатор даже робко заметил, что участие евреев в убийствах не доказано, и ежели подходить по закону, то обвинять

их можно только в том, что дерзили следователям, а за это можно вменить достаточным наказанием многолетнее пребывание в темницах, и потому всех арестантов следует распустить по домам.

В общем, не сталкивались сенаторы.

А поскольку то не в Англиях каких-нибудь происходило, где решения принимаются большинством голосов, а в России-матушке, где только единогласные определения Сената могли иметь силу, то особой чести удостоились велижские евреи: перекочевало их дело в Государственный Совет. И одному Господу известно, сколько бы еще годков ждал правды в темнице своей предусмотрительный Хаим Хрипун, если бы не попало оно сразу же в Департамент духовных дел и исповеданий, коим тот умник-законник заведовал, что в молодые годы в Англии морскому делу обучался и с тех самых пор на английский лад все в отечестве перекроить норовил.

Трех государей пережил адмирал Мордвинов, и каждого «Мнениями» своими атаковал. И про финансы, и про торговлю, и про развитие промышленности, и про политические права лиц разных сословий, и про отдельные судебные дела — у него свое мнение. И мнений тех он при себе не держал: каждое в Государственный Совет направлял, да государю, да сверх того всякому любопытствующему давал читать, да и переписать, так что в тысячах копий расходились «Мнения» его по России. Такой вот, понимаете ли, Самиздат.

Уж старик он древний, выбелен весь годами, ан как бессмертный Кощей при уме своем англицком состоит; живыми черными глазами из-под белых мохнатых бровей глядит безбоязно, голову высоко держит, на ноготок взлезать не торопится.

А ежели неуютное что в его «Мнениях», так он — пожалуй-ста — завсегда готов в отставку выйти да частным лицом в имениях своих поселиться. Имений-то у него почитай с целую Англию, так что дело себе он отыщет!

Ну, и выпроваживали его в отставку. И при Екатерине-матушке, когда он с самим Потемкиным схлестнулся, и при Павле Петровиче, и даже при Александре Павловиче Благословенном, когда друг его, такой же, как он, умник-законник Михаил Михайлович Сперанский в немилость впал и немилость та на него крикошетила.

Только вот странное дело. Сколько раз списывали адмирала Мордвинова с корабля, сколько раз осиновый кол в карьеру его вколачивали, а два-три годика проходило, и опять он в Государственном Совете, и в Комитете министров на первых ролях, и «Мнения» свои неугомонные снова строчит.

Прежние государи недолюбливали умника, а нынешний во все его не переносит. Да все ж терпит при особе своей, даже милостями одаривает, вот в графское достоинство на склоне лет возвел, потому как здорово умник мозгами шевелить умеет и сила какая-то тайная, магнетическая от него исходит.

Так и с Велижским делом вышло, что двенадцать лет десятки мелких и крупных чинов, орденами обвешанных, исследовали. Прочел умник все толстенные тома дела сего — не поленился, и мнение свое изложил. Коротко, ясно, толково, и с такой твердой английской логикой, что никуда ты от нее не денешься и из-под нее не выскользнешь.

Поскольку генерал-губернатор князь Хованский в своем заключении по Велижскому делу утверждал, что евреи — враги христиан и что они в течение веков много пролили христианской крови; поскольку такая точка зрения, ежели она водворится в правительстве в виде доказанной истины, с неизбежностью приведет к важным последствиям для всех обитающих в России евреев, то сперва-наперво умник общий вопрос рассмотрел: употребляют ли евреи христианскую кровь?

И заключил, что подозревать в этом вообще религиозных евреев абсурдно, ибо закон Моисеев строго-настрога *всякую* кровь, а не только человеческую, употреблять запрещает, и никто не испытывает такого сильного отвращения к крови, как евреи. В первые века христианства, указал умник, язычники приписывали кровавые оргии христианам, когда же христианство одержало верх и стало господствующей религией, оный абсурдный извет был перенесен на евреев. В позднейшее время, когда стало больше известно о еврейских законах, стали обвинять не всех евреев, а сектантов, которые уклоняются от запрета употреблять кровь. Однако наличие такой секты ничем не доказано, да и нельзя предположить, чтобы евреи, в течение веков терпевшие бедствия от ужасных правил той тайной секты, не открыли бы сами существования оной, особенно при той ненависти и нетерпимости, какую они вообще питают к сектантам. Известно, к примеру, что секта хасидов долгое время была предаваема проклятьям, а сочинения их публично сжигались.

Поскольку суждение князя Хованского основывалось в большей части на книгах и судебных делах прежних времен, то умник рассмотрел эти книги и дела и нашел, что все это не может быть принято в соображение ни в качестве исторических сведений, как произведения ума, омраченного предубеждениями, ни в виде судебных доводов, как наполненные противоречиями и разительными несообразностями.

Второй вопрос, поставленный умником, касался убийства солдатского сына Федора Емельянова Иванова, роли в оном евреев и трех христианских доказчиц.

Умник заметил, что из показаний Марьи Терентьевой явствует, будто она продолжала выполнять тайные преступные поручения евреев даже после того, как стала публично их уличать. Это, разумеется, невозможно. Аж через полтора года после убийства солдатского сына Терентьева и Максимова возили, по их словам, его кровь в Витебск, хотя из научных опытов установлено, что кровь, как жидкость органическая, быстро разлагается, теряя свои свойства и цвет, так что ее невозможно узнать, то есть данные показания тоже ложны. Из материалов первых допросов видно, что христианки почти ничего не помнили, с течением же лет, по мере удаления от события, они припоминали мельчайшие подробности даже о тех случаях, при которых, по их же словам, присутствовали мертвецы пьяными. Это тоже невозможно.

Итог: показания доказчиц несогласны между собой, с обстоятельствами дела, с медицинским свидетельством и, наконец, со здравым смыслом. Все это вытекает из материалов самого дела, из коих видно, что даны показания под посторонним влиянием, причем очевиден умысел оговорить евреев.

Убийство солдатского сына умник признал нераскрытым вследствие того, что, руководствуясь сильным предубеждением, все следователи с самого первого шага становились на ложный путь.

Что касается других убийств и надругательств над Святыми тайнами, то в деле не только нет юридических доказательств вины евреев, но даже то, что якобы убитые дети когда-либо существовали, не установлено.

Изложив все сие, умник предложил содержащихся под стражей евреев признать невиновными и немедленно их освободить. Еврейские школы, синагоги, молельни в городе Велиже открыть и дозволить в оных богослужение.

Трех христианок, также не повинных в убийствах, за ложные доносы и изветы умник посчитал достойными наказания кнутом и каторгой. Однако, учитывая, что доносили они под сильным посторонним влиянием, он нашел возможным от кнута их освободить, а каторгу заменить поселением. Что же касается крестьянской девки Еремеевой, то, по мнению умника, ее следовало сослать в монастырь на исправление.

Особо же необходимым он посчитал подтвердить повеление предыдущего государя, запрещающее обвинять евреев в ритуаль-

ных убийствах христианских детей, ибо обвинения эти основываются лишь на бытующих предрассудках и предубеждениях.

И, наконец, предложил умник освобождаемых из-под стражи велижских евреев, невинно в темницах томившихся, отчего, несомненно, торговые и прочие дела их в сильнейшее расстройство пришли, впредь на восемь лет освободить от государственных податей.

Вот как рассудил по-англицки!

Да в заседаниях Государственного Совета то «Мнение» свое доложил.

И с такой твердой логикой, что никто даже пикнуть супротив не посмел. Единогласно постановил Совет «Мнение» утвердить.

Кроме, конечно, последнего пункта. Потому как ежели тех евреев от податей на восемь лет освободить, то ведь великий урон для казны государевой может выйти!..

И что ж, вы думаете, умник?

На своем стал стоять даже и в сем последнем пункте! Особое «Мнение» на усмотрение государево поверг.

«Власть государственная, — написал в ‘Мнении’, — коя карает виновных, обязана вознаграждать невинно от нее страдающих». Справедливость то есть требует сатисфакцию, по-англицки-то выражаясь, невинным страдальцам дать. Так-то вот!

«Быть по сему», государь на решении Государственного Совета державной своей рукой начертал, а на «Мнение» отдельное умника лишь брезгливо поморщился. Вечно он с англицким своим выпендромом... Вознаграждать! Может, потребует еще, чтобы император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, в ноги паршивым жидкам поклонился! Будто и вовсе неповинны они ни в чем перед христианами! Опять же — секта... Что бы ты, умник, там ни писал, а я, однако же, государь самодержавный и мне полагать угодно, что ежели даже среди нас, христиан, к прискорбию нашему, изуверские секты имеются, то среди евреев тем более всякие такие секты должны быть! Не известны же оные потому, что евреи друг за дружку крепко стоят и сектантов покрывают. Это верно, что хасидов они анафеме предавали и даже ложными доносами на них правительство замучили. Ан, кто их там разберет. Может быть, это одна предприимчивость иудейская! Доносят друг на друга, чтоб взаимную еврейскую смычку замаскировать. А ты, умник англицкий, уши развесил и на хитрость жидовскую попался!

Глава 24

28 января 1835 года (по еврейскому календарю 18 числа месяца шват) прибывший в город Велиж из Петербурга фельдъегерь занял номер во втором этаже гостиницы Орлика Тевелева, что заново была отстроена после пожара на углу Базарной площади и Смоленской улицы.

Через час уже весь город знал о потрясающей вести, доставленной фельдъегерем. Толпы народа стали стекаться к дому Тевелева, запрудили всю улицу и прилегающую часть базара. Долго стояла, гудела толпа, а потом двинулась по городу стихийная процессия. Уже стало смеркаться, многие зажгли особые крупные свечи и понесли их над головами, как факелы.

Процессия, собравшая почти всех до единого велижских евреев, двигалась по Духовской улице к Большой синагоге, а впереди всех неясно маячила в сумерках фигурка маленькой старушонки в толстой ватной кофте. Она притопывала, хлопала в ладоши, кувыркалась в снегу и громко выкрикивала, почему-то по-русски:

— Наш Бог! Наша школа! Наш Бог! Наша школа!

Следом за старухой бежали мальчишки. Они толкались, смеялись и спрашивали друг друга:

— Ну, как тебе нравится старая Циреле?

Старую Циреле знал весь город: с утра до вечера она торговала на базаре дегтем, которым пропиталась ее ватная кофта.

Однако те, кто шел за мальчишками, уже с трудом различали в надвигающейся тьме фигуру старушки. Резкий запах дегтя от ее кофты сюда тоже не доходил, и в толпе говорили, что там, впереди процессии, танцует и кувыркается от радости та, что и должна с веселием великим идти впереди, то есть старая Мирка Аронсон, поднявшаяся на один этот вечер с еврейского кладбища.

У Большой синагоги возвышались сугробами горы нечищеного снега, и толпа должна была остановиться. Но уже через пять минут снег разгребли руками, черная железная цепь была порвана, печати сломаны, засовы отброшены, и тяжелая дубовая дверь, нехотя подавшись, со скрипом распахнулась перед благоговеющей толпой.

Внутри, среди холода и запустения, царил беспорядок, который возник девять лет назад, в тот момент, когда внезапно нагрянула полиция, получившая приказ опечатать синагогу. Скамьи были сдвинуты, часть из них — опрокинута. Разбросанные повсюду священные книги отсырели и наполовину истлели. Оторванный от стены рукомойник валялся на полу. Тяжелая скатерть наполовину сползла со стола, обе дверцы кивота были открыты, внутри не было священных свитков, взятых девять лет назад в полицию.

Однако быстро стал наводиться порядок. Замерцали кем-то принесенные свечи, и высокий зал с узкими сводчатыми окнами, застекленными разноцветными стеклами, осветился неярким светом. Слепой кантор Рувим поднялся на биму и, выталкивая изо рта белые клубы пара, запел:

— Благословите Господа, Он же благословен...

Слепой Рувим ждал этого часа долгих девять лет. Девять лет назад ворвавшиеся полицейские прервали его пение, и он дал обет не петь до того дня, пока моельни не распечатают вновь.

Этот день наступил. Неописуемая, неземная радость и благодарение вырывались из груди слепого Рувима, и две теплые струйки бежали из его невидящих, но сияющих глаз.

Все! Кончено девятилетнее позорище. Не будет больше секретных сборищ в тайно вырытых погребках, где только шепотом можно было разговаривать с Богом да ждать полицейской облавы со страхом великим в душе... С этим покончено. Не отдал Господь на поругание униженный свой народ.

Ну, вот и дождался ты правды, Хаим Хрипун! Пали тяжкие оковы твои, и постаревшая Рива омочила слезой твою поседевшую грудь. Опять светит солнышко, Хаим, и птицы поют, и духом смолистым тянет с сосновых лесов. И нет нужды в том, что спина твоя, познавшая плеть, сделалась круглою; что истончилась длинная шея твоя, и поникла тяжелая голова; нет нужды, Хаим, что тихая вековая печаль навсегда поселилась в большущих твоих глазах, что складка залегла над переносьем и не пышет больше праведным гневом пожелтевшее твое лицо. Все от Бога, Хаим, а от Него следует принимать и хорошее, и худое. Хорош Божий мир, Хаим, хорошо жить на свете Божиим, хорошо величие Божие и мудрость Его святой Торы постигать!

Ты, Хаим, раввином поставлен на место усопшего раввина. Пришло твое время, Хаим, потому что всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, Хаим, и время умирать. Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время обнимать, и время уклоняться от объятий.

И потому — смейся, Хаим Хрипун! Пляши, люби, не уклоняйся от объятий, Хаим! Вникай в сокровенный смысл Талмуд-Торы твоей. Что делает Бог, то пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его.

Едва успел ты к волюшке попривыкнуть, Хаим, как новая весть Велижград потрясла. Князь Хованский, что столько годков волен был три губернии на ноготке своем раздавить, в немилости вдруг оказался. Уволен с почетом в сенаторы! Видать, сильно подорвало дело ваше, Хаим, доверие государево к князю Хованскому.

А тут еще недород за недородом, губерния Витебская в запустение пришла, недоимки огромные накопились. Крестьяне бедствуют — не приведи Господь! То там, то тут бунты возникают, и не на кого бедствия народа свалить, потому как сильно усердствовал все годы генерал-губернаторства своего князь Хованский, делом жизни своей положивший евреев из деревень всех вывести. И преуспел в том деле немало: освободил от евреев большинство уездов. А вместе с тем торг оживленный, что искони вела губерния разными товарами с многими городами российскими да и с самой заграницей, потихонечку захирел. Потому что помещики, лишившись обычных своих посредников, доходы стали терять да сильнее крестьян прижимать, дабы восполнить потери; а крестьяне, не имея кому продукт свой сбыть, всякого интереса в работе лишились. И стали кричать помещики, что витебский мужик совершенно туп, ленив и ничем более не занимается, как пьянством. Только ведь криком, Хаим, делу не поможешь, и вот сельская промышленность почти вовсе в губернии прекратилась. Ни помещикам, ни крестьянам, Хаим, изгнание евреев из деревень пользы не принесло, только тех и других разорило. А заодно и города, переполненные обездоленными выселенцами, в упадок приходиться стали. Кое-где в них еще попадаются куски камнем вымощенных улиц. Но это следы бывшего благополучия, Хаим. Давно уж по бедности никто не мостит улиц в городах процветавшей когда-то губернии. Вот и весь невеселый итог долголетнего генерал-губернаторства князя Хованского...

Слава Господу, Хаим, новый генерал-губернатор иные порядки стал заводить — легче будет теперь и евреям. Не то чтобы он очень любил вас, Хаим, однако ж, он местом своим дорожит, ошибок предшественника повторять не желает. Ожидать можно, что меньше стеснений будет теперь собратьям твоим, Хаим Хрипун. Так и объясняй народу твоему.

Учи народ твой, Хаим, славить Бога и благоговеть перед лицом Всевышнего. На всех краях Земли, которую соорудил Он глаголом Своим, все собираются сонмами для благоговейного служения Ему. Он открывает из мрака глубоко сокровенное; иссекает пламена и молнии, освещающие и озаряющие вселенную. От дуновения Его расступаются горы; утесы и твердыни не выдержат ярости Его; от страха перед Ним распадаются долины, тают и расплавляются подобно воску. Вихри и бури крутятся вокруг пути Его; туча, подобно пыли, обволакивает стопы ног Его. Искупление послал Он народу, прильнувшему к Нему; Он навеки произнес завет свой с любимцами Своими, Им приобретенными и десницею Его объятими, следующими за Ним и прилепляющимися к Нему. Он слышит вопли их из глубины, Хаим, Он могучая краса, Роза долин.

Кто, Господи, подобен Тебе! Кто подобен Тебе, Всесильный и Избавитель? Кто подобен Тебе, Изрекающий правду и Всесильный во спасении? Кто подобен Тебе, Облекающийся в красу и величие? Кто подобен Тебе, Подавляющий грех и вину? Кто подобен Тебе, Пречистый среди высших сил? Кто подобен Тебе, Преплагий и Благотворящий? Кто подобен Тебе, Благодетельный и Праведный? Кто подобен Тебе, Громоздящий в груды воды морские? Кто подобен Тебе, Избавляющий из морской пучины? Кто подобен Тебе, Прославляемый шумом бегущих волн? Кто подобен Тебе, Мчащийся на облаках? Кто подобен Тебе, Помогающий и Ведающий уповающих на Тебя? Кто подобен Тебе, Творящий спасение? Кто подобен Тебе, Внемлющий зывающим к Тебе? Кто подобен Тебе, Чье имя свято и грозно? Кто подобен Тебе, благоволящий к народу Своему? Кто подобен Тебе, Сохраняющий завет и милость? Кто подобен Тебе, Хранящий верность Свою Иакову и Оказывающий милость Свою Аврааму?

Нет подобного Тебе, о Господи, меж Богами, и нет сравнения делам Твоим!

Итак, будем славить Тебя с благоговением, славословить Тебя с благоразумием, величать Тебя по величию Твоему, искать Тебя изведанием, прославлять Тебя благодарением, восхвалять в собраниях, вспоминать Тебя песнопением, возглашать могущество Твое с трепетом, превозносить Тебя с разумением в чистоте, проповедовать единство Твое со страхом, чествовать Тебя коленопреклонением, усердствовать Тебе в учении Твоем, воцарить Тебя царством, торжествовать с восторгом, величать Тебя господством Твоим, прославлять Тебя со смирением, украшать Тебя возгласом пения, возглашать Славу Твою ликованием, святить Тебя усердным зыванием, неустанно твердить хвалу Твою.

Гордо ходят евреи по Велижу, смело в глаза соседям своим глядят. Большая синагога переполнена, слепой кантор Рувим соловьем заливается, славит народ Господа торжественным песнопением.

Радуйся, ликуй, Хаим Хрипун!

Восторжествовала правда, пришло время, Хаим, опять доказал свое могущество Бог единый Израилев.

Мил, опрятен Велижград, уютно к реке Двине притулившийся; город тихий, набожный, торговый, со множеством церквей да заведений питейных. Характер купцов и мещан велижских добрый, но вместе — крутой. Многие ведут жизнь довольно разгульную. Нетрезвость широкие размеры имеет, а отсюда и бедность. Домашние ссоры и буйства доходят до обыкновенности. Старикородители часто жалуются на побои детей, а жены — на жестокость мужьев. Так колошматят добрые велижане супружниц своих, что преждевременные роды и скидывания — очень нередки. Люди достаточные и благонадежные здесь те из купцов и мещан, кто сам трудился над своими приобретениями. Потомственные же сынки и внуки купеческие, получив без труда отцовские и дедовские капиталы, торгуют без пользы и проводят дорогое время в разных маевках и вечеринках, усиливаясь стать в ряду небольшого образованного общества, а в праздничные зимние вечера выходя на удалые кулачные бои.

Ну, а виноваты в тягостях велижан, конечно, евреи! Это они добродушеством жителей как нельзя лучше пользуются; всякими предприимчивостями и коварствами, с великой противу христиан злобой, прибирают к липучим рукам все заработки.

Такой вывод, Хаим Хрипун, еще через два десятка годов сделает Православный Исследователь.

Генерал-губернатор-то опять сменится в Витебске, и новая метла по-своему станет мести.

Так что — ликуй, Хаим Хрипун!

Ликуй, пока твое время, ибо иные времена грядут.

Время искать, Хаим, и время терять; время раздирать, и время шивать; время разбрасывать камни, и время собирать камни. Все возвращается, Хаим, на круги свои.

Что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, Хаим, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, Хаим, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Спит вечным сном следователь Страхов; отозван, наконец, из Велижа подполковник Шкурин; совсем спился с круга сапожник Азадкевич, все больше по придорожным канавам бороденку всклокоченную в блевотине мочит да пускает пузыри. Зато по-прежнему свеж и деятелен учитель Петрища. На уроках в приходской школе он детишкам, ученикам своим, сказочки про жида вороватого рассказывает, к щенячьему их восторгу, а по вечерам в лучших домах велижских, куда его наперебой чай пить приглашают, из книги старинной польской разные места переводит, бороду нежной, белой, почти девичьей рукой оглаживает да объясняет вкрадчивым голосом своим, как погибать будет Россия через евреев.

Но ты не печалься тем, Хаим Хрипун.

Ты радуйся, Хаим. Веселись, ликуй в сердце твоем, потому что сейчас твое время.

Ведь нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это — доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

Москва, 1975–1979

СОДЕРЖАНИЕ

Об исторических романах С.Резника (<i>Вместо предисловия</i>)	5
Хаим-да-Марья. <i>Историко-документальный роман-фантазмагория</i>	9
Кровавая карусель. <i>Исторический роман в двух частях</i>	
Часть I. Услуга за услугу (<i>Павел Александрович Крушеван</i>)	215
Часть II. Русский вопрос (<i>Владимир Галактионович Короленко</i>)	297
<i>Послесловие</i> . В.Порудоминский. <i>Беспокойный человек</i> (<i>Штрихи к портрету писателя Семена Резника</i>).....	401

Семен Ефимович Резник

ХАИМ-ДА-МАРЬЯ
КРОВАВАЯ КАРУСЕЛЬ

Исторические романы

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Редактор *Р. Г. Запесоцкая*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, СПб., ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 336-45-32
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

Подписано в печать 27.02.2006. Формат 60x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 25.4.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 202.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии Издательства СПбГУ,
199061, СПб., Средний пр. В. О., д. 41.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ» В СЕРИИ

«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ.

Коллекция поэзии и прозы»

выпустило в свет:

«Гул Былого...» Русские поэты в Германии
Антология

«И только без этого жить невозможно...»
Книга избранной лирики / Сост. и вступ. ст. И. Соловей

О ничтожестве литературы русской:
Сборник / Сост. и вступ. ст. С. Гайер

Ступени: Русские поэты в Германии
Антология / Сост. Б. Марковский

Басова Ирина (Франция)
Вечерние стихи

Григорьева Надежда, Смирнов Игорь (Германия)
Sensus Privatus

Дериева Регина (Швеция)
Собрание дорог. В двух томах

Зарецкий Михаил (Израиль)
Шесть опытов о Свободе

Зарецкий Михаил (Израиль)
Старые книги

Извекова Муза (Германия)
И возвратится колесница...

Ионкис Грета (Германия)
Маалот. Ступени. Stafen

Каменкович Мария (Германия)
Дом тишины

Людмила Коль (Финляндия)
Когда она придет...

Коровкин Майкл (Италия)
Термины отчуждения

Коровкин Майкл (Италия)
Танцы с жирными котами

Кучаев Андрей (Германия)
Похождения трупа

Г. Лахтер (Германия)
Из дневника начальника уголовного розыска

Левит-Броун Борис (Италия)
Лишний росток бытия

- Левит-Броун Борис** (Италия)
Строфы греховной лирики
- Левит-Броун Борис** (Италия)
Терзания и жалобы. Книга ранних стихов и поэм
- Левит-Броун Борис** (Италия)
«...Чего же боле?»
- Левшин Алексей** (Франция)
За два дня до праздника
- Ливри Анатолий** (Франция)
Выздоровливающий
- Майнаев Борис** (Германия)
Тигр в стоге сена
- Майнаев Борис** (Германия)
Атаман: Исторические новеллы
- Малахова Мария** (Франция)
Избранные стихотворения
- Малаховская Анна Наталия** (Австрия)
Возвращение к Бабе-Яге
- Марковский Борис** (Германия)
«Пока дышу — надеюсь...»
- Волкова-Менделевская М.** (Германия)
Нина Менделевская: жизнь, посвященная музыке
- Мовчан Эльвира** (Греция)
Благодарю вас, греки!
- Нелюбина Татьяна** (Германия)
Оракул в подоле
- Нелюбина Татьяна** (Германия)
Потсдам и потсдамцы
- Порудоминский Владимир** (Германия)
Пробуждение во сне
- Ромайке Елена** (Германия)
И все годы спустя...
- Рубенчик Борис** (Германия)
Места и главы жизни целой...
- Рублов Борис** (Германия)
И вот я услышал немецкую речь...
(Рассказы пожилого эмигранта)
- Руденко Борис** (Германия)
Тропы лунных ливней
- Руденко Борис** (Германия)
Птицы Постума

Руденко Борис (Германия)
Голоса Воды

Сапгир Кира (Франция)
Дисси-Блюз

Сапгир Кира (Франция)
Оставь меня в покое...

Сапгир Кира (Франция)
Быки и улитки

Сквирский Вениамин (Германия)
Невероятные бредни старой вороны

Соловьев Владимир (США)
Роман с эпиграфами. Довлатов на автоответчике

Фадин Вадим (Германия)
Рыдание пастухов

Фиалков Юрий (Германия)
Доля правды

Харламова Наталья (Греция)
Прикосновения. Стихи и переводы

Цыбенко Олег (Греция)
Сады Семирамиды

Шенкман Григорий (Германия)
Скудные желания

Шефнер Мария (Германия)
Високосный год: Стихи

Ширяев Борис (Италия)
Ди-Пи в италии. Записки продавца кукол

Штемпель Виталий (Германия)
Песочные часы: Стихи

Юрий Штерн
Новая книга

Щиголь Лариса (Германия)
Вид из чужого окна

Юдковская Елена (Нидерланды)
Когда облака будут полны...



СЕМЕН ЕФИМОВИЧ РЕЗНИК родился в 1938 г. в Москве. Окончил инженерно-строительный институт. Печатается с 1960 года, десять лет работал редактором серии «Жизнь замечательных людей». В литературу вошел шумно: первая же его книга — о загубленном Сталиным и Лысенко академике Н.И. Вавилове — была признана «идеологически вредной» и чуть было не уничтожена. Затем последовали научно-художественные биографии И.И. Мечникова, В.О. Ковалевского, Г.С. Зайцева, В.В. Парина, другие книги о выдающихся ученых.

Обращение к теме корней советского антисемитизма привело С. Резника к полному разрыву с системой, исключению из Союза Писателей, эмиграции из страны. С 1982 года живет в США. Около десяти лет работал в редакции журнала «Америка», с 1994 года — на «Голосе Америки». В эмиграции написал ряд художественных и историко-документальных книг, в том числе «Красное и коричневое», «Нацификация России», «Растление ненавистью», «Вместе или врозь? Судьба евреев в России: Заметки на полях диалоги А. И. Солженицына».

В этот том включены два исторических романа - "Хаим-да-Марья" и "Кровавая карусель". Они отличаются остротой сюжета, столкновением полярных характеров и мировоззрений. Написаны 25-30 лет назад - до эмиграции автора, а повествуют о временах еще более давних; но останутся злободневными, пока в мире существуют национальные предрассудки, нетерпимость и ненависть.